

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
И НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ДЕКАБРЬ.

№ 12.

СОДЕРЖАНИЕ:

	Стр.
Мих. Пришвин.—Весна воды и леса, очерк	3
Дм. Четвериков.—Простой народ, повесть	11
А. Бирик.—„Семка промышленник“, рассказ	48
Борис Губер.—Лобуда, рассказ	66
Стихотворения: В. Наседкина, Мих. Зенкевича, Мих. Герасимова и Вл. Кириллова	92
А. Киселев.—В ссылке	99
Вл. Виленский (Сибиряков).—Столетие декабрьского восстания 1825 г.	110
Ф. Рогинская.—Сдвиги и достижения в области изобразительных искусств	117
Д. Горбов.—Итоги литературного года	129
Отзывы о книгах	149

ИЗДАНИЕ „ИЗВЕСТИЙ ЦИК СССР и ВЦИК“

МОСКВА — 1925

Весна воды и леса.

Мих. Пришвина.

Вскрытие озер.

В истории земли жизнь озер очень кратковременна, так вот было когда-то прекрасное озеро Берендеево, где родилась сказка о Берендее, а теперь это озеро умерло и стало болотом. Плещеево озеро еще очень молодо и как будто не только не замышается и не зарастает, а все молодеет. В этом озере много сильных родников, много в него вливается из лесов потоков, а по реке Трубежу вместе с остатками воды Берендеева озера перекачивается и сказка о берендеях.

Ученые говорят разное о жизни озер, я не специалист в этом, не могу разобраться в их догадках, но ведь и моя жизнь тоже—как озеро: я непременно умру, и озера, и моря и планета, все умрет. Спорить, кажется, не о чем, но откуда же, при мысли о смерти, встает нелепый вопрос.

— Как же быть?

Думаю, это наверно оттого, что жизнь больше науки. Невозможно жить с одной унылой мыслью о смерти, и свое чувство жизни люди выражают только сказкой или смешком: «все люди смертны, я человек, но это ничего не значит, все умрут, а я-то как-нибудь проскочу». Эти жалкие смешки отдельных людей перед неизбежностью конца простые берендеи сметают своим великим рабочим законом: помирать собирайся, а рожь сей.

Напор жизни безмерно сильнее логики, а потому науки не надо бояться. Я немолод, вечно занят, чтобы кувшин мой был полон водой и знаю, что когда он полон все мысли о смерти пусты. Мало ли что будет когда-то, а самовар по утрам все-таки я ставлю с большим удовольствием, мой самовар, отслуживший мне долгое время от первой встречи и до серебряной свадьбы моей с Берендеевой.

Только в самое светлое время утренний свет встает раньше меня, но и то я все-таки встаю непременно до солнца, когда даже обыкновенные полевые и лесные берендеи не встали. Опрокинув самовар над лоханкой, я вытрясаю из него золу вчерашнего дня,

наливаю водой из Гремячего ключа, зажигаю лучину и ставлю непременно на воле, прислонив трубу к стене дворца на черном ходу. Есть еще на другой половине парадное крыльцо, сделанное для приема обыкновенных несчастных царей, я им не пользуюсь, а третье крыльцо перед забитой дверью—место самого Берендея. Тут, на верхней площадке, пока вскипает самовар, я готовлю на столе два прибора. Когда поспеет, я в последний раз обдуваю частицы угля, завариваю чай, сажусь за стол и с этого момента не я, обыкновенный озабоченный человек, сидит за столом, а сам Берендей, оглядывая все свое прекрасное озеро, встречает восход солнца.

Вскоре приходит к чаю Берендеевна и, оглядев, все ли в порядке у самого, велит:

— Опять бородинцу запустил, страшно смотреть, оботри усы.

Она пробирает Берендея всегда на *вы*, так равняя его с ребятами, и Берендей с удовольствием ей подчиняется. Среднее отношение к женщине, называемое словом *жена*, у Берендея уже прошло и жена ему стала, как мать, и собственные дети, как братья-охотники. Придет, может быть, время и Берендеевна станет ему женой-бабушкой, внучата новыми братьями, младенцем пришел, младенцем уйдет, как и в озерах: одни потоки вливаются, другие истекают и, если ты бережешь кувшин полным, то жизнь бесконечная...

Мало-по-малу сходятся из леса берендей: кто принес петуха, кто яиц, кто домотканное сукна и кружева. Берендеевна все внимательно осматривает и, бывает, что-нибудь покупает, сам же Берендей выспрашивает всех, кто где живет, чем занимается, какая у них земля, вода, лес, как гуляют на праздниках, какие поют песенки.

Сегодня был один берендей из Половецкой волости и рассказывал, что у них там в болотных лесах есть дорога на три версты, бревнышко к бревнышку, и очень звал к себе в гости посмотреть и подивиться *деланой дороге*. Другой берендей был из Ведомши, дегтярник, долго рассказывал, как он огромный пень разбирает на маленькие кусочки, как гонит чистый деготь, вар-смолу и скипидар. Третий был из Заладьева.

— Что это значит такое,—спросил Берендей—как это понять: заладье?

— А у нас там бежит речка, мы за речкой живем, речка же называется Лада.

— Речка Лада, как хорошо,—восхищается сам Берендей.

— Да,—соглашается довольный туземец,—ведь у нас за Ладой пойдут все гладкие роскоши и по Утехину врагу все добрые села: Дудень, Перегудка, Хороброво, Щегаленово и Домоседка.

— Вот слышу,—сказал берендей-валешанин из Ведомши,—что есть речка Лада, гладкие роскоши, черные земли и ученые люди, у нас же только пень, смола, муха равная, комар и села недоб-

рые: Чертоклычино, Лешийроское, Идоловы порты, Крамолика, Глумцы. Отчего это?

— Семена такие попали,—засмеялся берендей-полевик.

— Да, семена,—схватился берендей-залешанин,—я слышал от бабушки притчу, будто ангел в двух мешках нес семена людей, добрых и злых, дорога была дальняя, добрые люди, кто молится, кто книжку читает, а злые ругаются. Ангел просит потише быть, они же ангелу друг на дружку спираться, дальше больше, и подрались. Вот тогда мешок не выдержал, разорвался и злые семена рассыпались. А добрые семена ангел донес. Вот отчего и случилось, что на одной стороне озера пень да комар, а на другой Переславль—город с церквами и хлебными полями.

Реки, речки, потоки, родники, какие-то веточки, лапки и даже просто потные места, все Залесье светится этим капризным узором. И все это загадывает оплавить сам Берендей, когда совершенно освободится от льда Плещеево озеро.

Когда солнце перелиняло всеми своими начальными заревами красками и стало на свою обычную золотую работу, расходятся берендеи и сам Берендей исчезает.

Тогда я завешиваю от солнца окна своей рабочей комнаты и принимаюсь за свою работу. Почему-то сегодня я не могу ничего делать, все как-то путается. Прекрасными умными глазами смотрит на меня из угла рыжий пес Ярик, угадывая, что долго мне не просидеть. Этих взглядов я не могу выдержать и начинаю с ним философский разговор о звере и человеке, что зверь знает все, но не может сказать, а человек все может сказать, но не знает всего.

— Милый Ярик, один великий мудрец сказал, что с последним зверем исчезнут на земле все тайны. Вот на улицах в Париже уже исчезли все лошади и говорят, что там скучно стало с одними автомобилями. Посмотри, сколько у нас в Москве лошадей, сколько птиц на бульварах, говорят, нет такого города в мире, где было бы на улицах столько птиц...

— Ярик, давай с тобой устроим на Ботике Берендееву биостанцию, чтобы вокруг верст на двадцать пять остались бы неприкосновенными все леса, все птицы, все звери, все родники Берендея. На Гремячей горе пусть будет высшая школа и в нее будут допускаться только немногие, доказавшие особенную силу своего творчества и то на короткое время для подготовки большого праздника жизни, в котором все участники радовались бы, непременно прибавляя от себя что-нибудь к Берендееву миру, а не засоряя его бумажками от бутербродов.

Я бы так еще долго разговаривал с Яриком, но вдруг Берендеевна крикнула:

— Иди, иди скорее, посмотри, какое озеро!

Я выбежал и увидел такое, что второй раз уже невозможно было увидеть, потому что в этот раз озеро отдало мне все свое лучшее и я свое лучшее отдал озеру, и тот заповедник вдруг

явился и все выходило так, будто Ярик, зверь, на мои слова ответил явлением этого зеркального тихого озера.

Да, это они, звери, птицы, деревья так отвечают нам, если мы всей душой, всей любовью их спрашиваем. Весь небесный свод со своими градами и весями, лугами и пропилями и простыми белыми барашками почивал там в зеркальном озере, гостил так близко у нас, у людей...

И я вспомнил то мое весеннее время, когда она мне сказала: «Гы взял мое самое лучшее». Вспомнил и то, что она же сказала мне осенью, когда солнце нас покидало, как тогда я рассердился на солнце, купил самую большую тридцатилитровую лампу молнию и повернул всю жизнь по-своему...

Что вышло из этого?

Мы долго молчали, но один гость наш не осилил молчания и нелепо сказал, только чтобы сказать:

— Видите, там утка чернеется.

Глубоко вздохнула Берендеевна и тоже сказала:

— Если бы я была прежняя, девочкой, да увидела такое озеро — я бы на коленки стала.

То был великий день весны, когда все вдруг об'ясняется из-за чего мы переносили столько пасмурных, морозых, ветренных дней: все это было необходимо для творчества этого дня...

Первое кукование.

Что же другое можно было придумать, увидев открытое озеро — не теряя времени даром, итти краем воды в лес и дальше в глубину леса в село Усолье, где работают лодочные мастера.

На пути нашем все было так, будто уже и устроился тот заповедник, о котором я разговаривал с Яриком. Направо от нас у самого озера шумел высокий бор, налево был дикий невылазный болотный лес, переходящий в огромные болотные пространства. В бору, на солнечных пятнах по брусничнику, нам стали показываться какие-то движущиеся тени и, подняв голову вверх, я догадался, что это там неслышно от сосны к сосне перелетают коршуны.

— Все как-то холодно было, а вчера вдруг все и пошло, — сказал нам лесник.

— Заря все-таки, — ответил я, — была довольно холодная.

— Зато сегодня утром-то как сильно птица *гремела!*

В это время раздался крик и мы едва могли в нем узнать первое кукование: оно гремело и сплывалось в бору. И даже зяблики, маленькие птички, не пели, а гремели. Весь бор гремел, и неслышные, различимые только по теньям на солнечных пятнах по брусничнику, перелетали с кроны на крону большие хищники.

Первый зеленый шум.

К вечеру солнце было чисто на западе, но с другой стороны огромывивали тучи, сильно парило и трудно было угадать, обойдется или нет без грозы в эту ночь. На пару во множестве цветут львиные зевы синие, в лесу заячья капуста и душистый горошек. Березовый лист, пропитанный ароматной смолой, сверкал в вечерних лучах. Везде пахло черемухой. Гомонели пастухи и журавли. Лещ и карась подошли к берегу.

Увидев в нашей стороне большое зарево, мы струхнули: «не у нас ли это пожар?» Но это был не пожар и мы себя спросили, как всегда спрашиваешь всю жизнь, видя это и не узнавая опять: «а если не пожар, то что же это может быть такое?». Когда ясно обозначилась округлость большого диска, наконец мы догадались: это месяц такой. За озером долго сверкала зарница. В лиственном лесу от легкого ветра впервые был слышен зеленый шум.

Первый соловей.

При выезде из реки в озеро, в этом *Уррее*, в лозиновых кустах, вдруг рывкнул водяной бык, — небольшая серая птичка выпь, ревущая как животное с телом по крайней мере гиппопотама. Озеро опять было совершенно тихое и вода чистая от того, что за день ветерок успел уже все эти воды умыть. Малейший звук на воде был далеко слышен.

Водяной бык вбирал в себя воду, это было отчетливо слышно и потом—ух! на всю тишину ревом, раз, два и три: помолчит минут десять и опять—ух! бывает до трех раз, до четырех, больше шести мы не слышали.

Напуганный рассказом в *Усолье*, как один рыбак носился по озеру, обняв дно своей перевернутой волнами вверх дном долбленки, я правил вдоль тени берега и мне казалось, там пел соловей. Где-то далеко, засыпая, прогомонели журавли и малейшее на озере все было слышно у нас на лодке. Там посвистывали свиязи, у чернетей была война и потом был общий гомон всех утиных пород, где-то совсем близко топтал и душил свою самку кряковой селезень. Там и тут, как обманчивые вехи вскакивали на воде шеи гагар и нырков. Показалось на розовом заплеске воды белое брюхо малой щуки и черная голова схватившей ее большой.

Потом все небо покрылось облаками, я не находил ни одной точки, чтобы верно держаться и правил куда-то все налево, едва различая темнеющий берег. Каждый раз, как ухал водяной бык, мы принимались считать, дивясь этому звуку и загадывая, сколько раз ухнет. Было удивительно слышать эти звуки очень отчетливо за две версты, потом за три и так все время не прекращалось, и за семь верст, когда уже слышалось отчетливо пение бесчисленных соловьев *Гремячей горы*.

Этот непрерывный днем и ночью ветер, а сегодня, при полном сиянии солнца, вечно бегущие волны с белыми гребнями и неустанно снующие тучи стрижей, ласточек береговых, деревенских и городских, а там летят на Гремяч все чайки разом, как в хорошей сказке птицы, только не синие, а белые на синем. Белые птицы, синее небо, белые гребни волн, черные ласточки и у всех одно дело, разделенное на двое: самому с'есть и претерпеть чужое с'едание.

Мошки роятся и падают в воду, рыба подымается за мошками, чайки за рыбой, пескарь на червя, окунь на пескаря, на окуня щука и на щуку сверху скопа.

По строгой заре, когда ветер немного поуялся, мы поставили парус и краем ветра пошли по огненному литью волн. Совсем близко от нас скопа бросилась сверху на щуку, но ошиблась: щука была больше, сильнее скопы, после короткой борьбы щука стала спускаться в воду, скопа взмахнула огромными крыльями, но вонзенные в щуку лапы не освободились и водяной хищник утянул в глубину воздушного. Волны равнодушно понесли перышки птицы и смыли следы борьбы.

На глубине, где волны вздымались еще очень высоко, плыл челнок без человека, без весел и паруса. Один челнок без человека был такой жуткий, как лошадь, когда мчит телегу без хозяина прямо в овраг. Было нам опасно в своей душегубке, но мы все-таки решили ехать туда узнать, в чем же дело, не случилась ли какая беда, как вдруг со дна челнока поднялся невидимый нам хозяин, взял весло и повел челнок против волн.

Мы чуть не вскрикнули от радости, что в этом мире появился человек, и хотя мы знали, что это просто изморенный рыбак уснул в челноке, но не все ли равно: нам хотелось видеть, как ступит человек и мы это видели.

Глаза земли.

К самому вечеру так стихло, что листок на берегу не шевелился. Под Гремячей горой на дороге все куда-то идет и едет народ. На боковой песчаной тропинке я видел следок малюсенькой детской ножки-лапки, такой милый, что, не будь смешно, на людях поцеловал бы...

Едут люди внизу по дороге, переговариваются на подводах и слова их, ударяясь о тихую воду, все ясно летят на Гремячую гору. Почти с каждой подводой бежит жеребенок. Крестьянские слова были о том, что картошку посадили, что у какого-то Дмитрия Павлова померла жена, и что ему до шести недель не пришлось дожидаться, женился и никак иначе нельзя, шесть человек детей. А Марья вышла за Якова Григорьева, ей сорок, ему шестьдесят, у нее же, у Марьи, телушка. На задней подводе не расслышали, что такое было у Марьи и через весь обоз полетело: те-луш-ка...

И вот до чего, наконец, стихло, что с Урева за семь верст было явственно слышно, как ревел водяной бык.

Майские жуки.

Еще не отцвела черемуха и ранние ивы еще не совсем рассеяли свои семена, а уже и рябина цветет, и яблоня, и желтая акация, все догоняет друг друга и все разом цветет этой весной.

Начался массовый вылет майских жуков.

Тихое озеро по раннему утру все засыпано семенами цветущих деревьев и трав. Я плыву и след моей лодки далеко виден, как дорога по озеру. Там, где утка сидела, — кружок, где рыба голову показала из воды — дырочка.

Лес и вода обнялись.

Я вышел на берег насладиться ароматом смолистых листьев. Лежала большая сосна, очищенная от сучьев до самой вершины, сучья тут же валялись, на них еще лежали сучья осины и ольхи с помятыми листьями, и все это вместе, все эти поверженные члены деревьев, тлея, издавали приятнейший аромат на диво животным тварям, не понимающим, как можно жить и даже умирать благоухая.

Иволги.

Свечи на соснах стали далеко заметны. Рожь в коленах. Роскошно одеты деревья, высокие травы, цветы. Птицы ранней весны замирают: самцы, линия, забились в крепкие места, самки гоняют на гнездах. Звери заняты поиском пищи для молодых. У крестьян всего нехватает: весенняя страда, посев, пахота.

Прилетели иволги, перепела, стрижи, береговые ласточки. После ночного дождя утром был густой туман, потом солнечный день, свежевато. Перед закатом потянуло обратно с нашей горы на озеро, но рябь по прежнему долго бежала сюда. Солнце садилось из синей тучи в лес большим несветящим лохматым шаром.

Иволги очень любят переменную, беспокойную погоду, им нужно, чтобы солнце то закрывалось, то открывалось и ветер бы играл листвою, как волнами. Иволги, ласточки, чайки, стрижи с ветром в родстве.

Темно было с утра. Потом душно и с юга пошла на нас большая туча. Поднялся ветер и под флейту иволги и визг стрижей туча свалила, казалось, совсем куда-то в Заверье, в леса, но скоро там усилилась и против нашего ветра пошла сюда черная в огромной белой шапке. Смутилось озеро: ветер на ветер, волна на волну и черные пятна, как тени крыльев, быстро мчались по озеру из конца в конец. Молния распахнула тот берег, гром ударил. Иволга петь перестала, унялись стрижи. А соловей пел до самого конца, пока, наверно, его по затылку не ударила громадная теплая капля. И пошло, как из ведра.

Стрижи.

После грозы вдруг стало очень холодно, начался сильный северный ветер. Стрижи и береговые ласточки не летят, а сыпятся откуда-то массой.

А когда потом деревенская женщина с мальчиком вышла к озеру полоскать белье и мальчик, подняв рубашенку, хотел помочиться в воду, то слова женщины у воды были так, будто она сказала возле нас. Она сказала своему мальчику:

— Что ты, бессовестный, делаешь, в глаза матери...

Значит, она думала, что озеро—это глаза матери-земли?

Как всегда в таких случаях я спросил Берендеевну, что она думает об этом.

— Конечно земли,— сказала она,— а потом это же и на чело- века переводят: если у женщины заболят глаза, то в деревне ска- жут, что, наверно, это ее ребенок помочился в воду.

Так у берендеев распадается древний культ: поэтическое воз- зрение о глазах матери-земли переходит в культуру всего чело- вечества, а у самих остается лишь суеверие.

«Невозможно было этой ароматной ночью уснуть, всю ночь глаза матери-земли не закрылись.

М И Х. П Р И Ш Ь И Н.

Простой народ.

Дм. Четвериков.

1.

Вздохмаченный человек дергал ручку звонка. Был предрассветный час, и город мирно похрапывал. Дрыхли будочники, перестали выстукивать караульщики, нахохлились базарные ряды и каланча. Растормошить ли сонную одурь будочника, ушедшего с головою в тулуп?

Вздохмаченный человек рвал звонок.

— Пяткой бы постучали,—советовал, скучая, извозчик.

— И то, попробовать пяткой.

— А как же? Обязательно пяткой.

Деревянный набат заплясал часто-часто. В доме зашевелились.

— Открой, Дарья!—выбежал в прихожую учитель русского языка Чердынцев.

— Не отрывай, Дарья!—подхватила учительша Елизавета Ивановна.

Чердынцев поправил шлепанцы. Второпях он надел левый на правую ногу.

Смотрели, как дрыгается и хрипит звонок. Ждали, что будет. Мерзли.

Когда, наконец, с большими предосторожностями отперли дверь, вздохмаченный адвокат Ловцов бросился целовать и учителя в заспанные усы, и учительшу, и ребят, и ошалелую Дарью.

— Ура! Наша взяла! Христос воскрес! Аллон занфан де ля патри!

Оглянулся, увидел, что никто ничего не понимает.

— Фу, ты, чорт, самого главного не показал. Вот он, вот он! Манифест! Читайте! Живо чтобы!.. я у вас—у четвертых, а мне пятнадцать мест обхлестать надо.

— Стойте! Матвея надо позвать!

— Дарья!

— Паренек у нас стригановский ночует. Сено на базар привез,—настоящий!

— Паренек?

Адвокат даже пискнул от волнения.

— И вы молчите? У вас паренек, а вы воды в рот набрали? Тащите сюда паренька! Господи! Да что это?

Адвокат прослезился.

— Русский народ!—закричал на заспанного Матвея и распластал на груди манифест.—Я первый пришел к тебе с первыми петухами!.. Детали расскажет он,—ткнул на учителя.

— Трогай!

И упал в извозчицьи санки.

Кнут полоснул лошадиную спину. Заиндевшая лошадежка затрусила по спящему городку.

2.

Повестка:

«Экстренное высокаторжественное... вследствие высочайше дарованной свободы слова...»

Зал городской думы.

— Так и не довинтили?—с почтительным перегибом вскрикнул адвокат Ловцов.

Городской голова сует руки в карманы нижней принадлежности костюма. Ловко поддерживает нижнюю принадлежность и садится.

— Шла карта, шла карта—и вдруг бац: манифест.

— Государь добр, но мы некультурны!—вздыхает исправник.

— Мужичку нужна водка, а не свобода,—бурчит земский начальник.

Заседание открывается. Оглашение манифеста. Голова растроган. Голова посяпывает носом.

— Оспода!—говорит он и смахивает слезу:—Я растроган, я не могу говорить...

«Шла карта, шла карта...»,—левет ему в голову.

— Оспода! Такой вседобрый монарх, как наш,—беспримерный в истории. А посему, воскликнем от глубины души: да здравствует наш возлюбленный монарх Николай Александрович!

Голова сапнул носом и присовокушил:

— Ура!

Вылез Ловцов. Бил себя кулаками по жилету, ерошил волосы и зачем-то облобызал пристава, стоявшего у эстрады.

Когда кончил, никто ничего не понял, но хлопали преусердно.

Вытолкали вперед инспектора городского училища Мартынова, который прославился на весь Ирбит тем, что выращивал в комнате лимоны. Инспектор нырнул обратно, как только выпустили его из рук. Тогда выволокли учителя русского языка Чердынцева. Он обвел присутствующих пьяными от восторга глазами и сказал:

— Свобода слова (мы ею уже пользуемся!). Свобода печати (она нас ждет!). Свобода совести, наконец... она...

Собрание прервало его речь аплодисментами. Только Клавдия Абросимовна, начальница женской гимназии, прошептала на ухо классной даме:

— Ну, уж свобода совести—это слишком!

После Чердынцева говорил Воробьев, член городской управы и хозяин единственной в городе типографии.

Он без обиняков предложил ассигновать достаточную сумму на отпечатание (конечно, в его типографии) листовок, разъясняющих значение манифеста и смысл свобод.

В этот вечер не спалось обывателю города Ирбита. Хихикал обыватель в подушку:

— Вот тебе и городской голова! Выходи, кто хочет, и говори, что хочет. Полная свобода мысли, и запретить не могу.

Чердынцев бегал по кабинету и каждую мысль припечатывал новым окурком крепкого асмоловского табаку.

— Вот этот, богом убитый, Ирбит,—метался Чердынцев:— Вот этот адвокат Ловцов или инспектор Мартынов, который выращивал лимоны,—он воскреснет, очнется от спячки, завтра же, завтра же выйдет из инспекторской квартиры новый, светло улыбающийся и скажет:

— Братья, товарищи на стезе просвещения! До сих пор мы молчали, выращивали лимоны, наушничали, травили учеников. Или сидели по квартирам, тупели над тетрадами и тупели от сплетен и дразг. Смотрите, братья и товарищи: я, инспектор Мартынов, расстегиваю мундир, вырубая лимонное дерево и кричу: долой мертвечину и формулярные списки!

Да что там Мартынов! Вся Россия отбросит формулярные списки, очнется, встанет и пойдет.

Разве не ждал каждый ирбитчанин потихоньку от себя: вот что-то свершится, что-то придет и опрокинет Ирбит, опрокинет—застоялся!—кувырком, взболтыхает, вот так!

Ведь больше так, как было, нельзя. Ведь задыхались, задыхались... Даже чахлым лимонам инспектора Мартынова не хватало воздуха.

Чердынцев шгаает, шагает. Шаги одиноко звучат в уснувшем доме. Лампу забыли потушить в столовой. Чердынцев тушит лампу и ходит опять.

И чудится ему: голоса, голоса. Это встают ирбитчане. Воскресают, встают, встряхиваются и произносят:

— Мы спали века и века. Но горстка людей, соль земли—интеллигенция—буравила стену—и вот уже хлынул поток живой воды.

Граждане, граждане! Ведь есть же живая душа!

Встают, откликаются, и Чердынцев видит: перерождаются души.

О душе в эту ночь думал и городской голова. Ворочался в постели, вздыхал.

— Душа! Не даром душа у меня болела на той неделе. Однако все ожидал, но манифест—нет, такого не ждал.

И лезли сомнения, и городской голова прислушивался к ноющей душе:

— А вдруг подвох? Например, на телеграфе напутали, или крамольники сочинили манифест, разослали повсюду для смуты, а назавтра—бац—циркуляр: немедленно из'ять подложный манифест из обращения, виновников предать суду? Завтра же, завтра же еду в губернию,—тосковал городской голова:—Ох, какое нарушение жизни!

Стригановский парень Матвей воротился в деревню под вечер: Сено было продано, выручка шуршала в кармане.

Стригановка попрежнему горбила крыши. Так же, как всегда, тывкали запаршивевшие псы.

— Записочка вам из городу,—принес Матвей запах тулуπα и сена в комнату учительки.

Учителька стригановская, Валентина Филипповна Сурова, от записки на Матвея глаза:

— Свобода, Матвей!

— Слышал. Давеча барин один почеломкался даже, вот до чего.

В записочке звали в город. Назначался учительский с'езд. Записочка была бестолкова, но полна ликования:

«Инспектор народных училищ,—сообщалось в ней, между прочим—заперся у себя в квартире, и ему ежедневно привозят корзину пива. Но что нам инспектор, коли свобода собраний? Организуйте митинг, приезжайте на с'езд и за литературой. Известите живущее поблизости к вам учительство».

Валентина Филипповна сожгла на свече записку (слыхала,—так делают революционеры), заказала сторожихе самовар, легла на кровать и думала о России, о народе. Россия ей представлялась курносой девицей в кокошнике, как в живых картинах с бенгальским огнем. Народ тоже был красивый: сеятель, рослый, как на коробках толочка («сейте разумное, доброе, вечное!»), и сознательный. Не то, что стригановские мужики.

Когда культяпая сторожиха Марья принесла фыркающий самовар, Валентина Филипповна спала, а на столе валялся комочками пепел «конспиративной» записки.

3.

На другой день сунула в сумочку трешницу и два полтинника,—остаток учительского жалованья. Захлопнув сумочку, снова раскрыла ее. Вынула серебрушку. Внимательно вглядывалась в человека с низким, тупым лбом, с мелкими недобрыми глазами, выбитого на лицевой стороне монеты.

— Едем,—сказала вознице:—сперва на Коркулевку.

Накренила кошевку увесистым своим телом, унаследованным от матери-просвирни, отряхнула с валенок снег, и закрипели полозья по северному безлюдью, через верески, волчьи овраги, где снег и небо пустоцветны, как жидкое, снятое молоко.

Валентина Филипповна шурилась на переблески, собирала слова, такие, какими бы сказала большая радость. Так долго молчала. Перезабыла большие слова. Осталась в памяти мелочь, вчера еще значимое,—крохотное, дрянь сегодня. Уцепилась за одно слово и его твердила, им захлебывалась:

— Освобождение...

А когда очутилась среди банок лака, столярного клея, охры, сурика, голландской сажи, когда увидела русобородого христого учителя коркулевского, Флерова,—поверила:

— Он знает.

Такое уж было лицо у Флерова—осиянное, благодарное, словно получил только что ворох радостей. И сейчас вот начнет раздачу, без выбора, без разбора, горстями, что кому.

— Вы слышали?

Флеров ничего не слышал.

— Как же так! Манифест!

Путанно пересказывала записку—благовещение из города. Хваталась за одни, за другие слова. Одни казались шершавыми, ноздреватыми, падавшими сразу на дно; другие были высокопарны, как церковные ризы. Их стыдно было говорить.

Оборвала себя:

— Немтыри мы.

Обижено замолчала; опустила на стул.

— Крашено!—закричал Флеров.

Пересела ближе к нему, но Флеров отодвинулся.

— От вашей сестры лучше подальше.

Валентина Филипповна не удивилась. Кто же не знает в уезде девственника, чудака Флерова? Ведь это он на учительском съезде проповедывал физический труд. Ведь это он презанятно бежал от влюбчивой Гали Полюдовой.

— Вы все свое,—отмахнулась Валентина Филипповна:— Что скажете про манифест?

— Прочитать надо. Покрашу стулья,—и в город. Крестьяне насчет земли ждут. Может, есть и про землю,—сказал и ввязался за смачную кисть.

Валентина Филипповна удивленно смотрела на спокойные округлые движения. Будто ждал он, придет письмо и перевод и переводом—мужикам землю. И опять выходило так, что, не торопясь, докрасит стулья, направится в город на почту, предъявит повестку и доверенность.

— Тут на мужичков есть перевод.

Получит, раздаст до последней горсти, и радость будет теплиться на русобордом лице.

Проезжала через Коркулевку, дивилась: чистенькие избы, как девки в праздничный хоровод. И все полногрудые, и все круглолицые, и все на одно лицо.

— Скит не скит,—подумала Валентина Филипповна:—вовсе не походит на косматую, разношерстую Стригановку.

Уже повернулась и левым и правым боком последняя коркулевская изба перед повизгивающей кошечкой, уже вымахнули за околицу, и снова ветер захлестал в лицо, а все еще Валентина Филипповна сбивается в мыслях на добрую бороду Флерова.

— Коркулевский Христос!

Обогнули ельник, речушку перекосили зимним путем. На торчке замаячила тогринская школа, обколупанная, кривая; словно нежилой дом.

Галя Полюдова доила коров.

— Проходи!—крикнула из хлева, и струя молока запела звонко о подойник.

Валентина Филипповна прошла в школу, сбросила шубу на Галину кровать.

(«Все забываю пришить вешалку!»).

Жаркая печь. Стол с неубранной посудой. Рядом—недошитое лоскутное одеяло и обкапанная свеча.

— Леденцы стряпала...—вбежала Галя:—Уж так захотелось конфеток!

Взяла ложку, натаяла в ложку сиропу, придерживая кусок сахару над свечей. Высунула ложку за форточку, остудила. Потом хлопнула о подушку, подала гостю желтый со свечной копотью леденец.

— Манифест, Галя. Приехала тебя известить.

Галя смахнула со стола крошки, скрутила растрепавшиеся желтые волосы в шишку, выбросила кошку за дверь.

— Одеяло видала?—закричала она.—У меня, брат, ничего не пропадает, из обрезков шью! Вот это изношенное летнее платье. Это—галстух. Это—обрезок от платка. Знаешь, в роде дневника выходит: каждый кусочек что-нибудь говорит. Так манифест, значит?

— Манифест.

— Может, занятия отменим?

Пришел второй учитель школы, Агапов. С'ежил осторожное лицо:

— Вы бы про свободу не очень. Вы—бессемейная, а мне семерых кормить.

Агапов поковырял в зубах в раздумьи.

— Занятия? Без предписания не позволю отменить.

Управившись с леденцами, Валентина Филипповна и Галя укатили в город.

4.

Улицами, базарным утоптаным током оголтелый люд. В городской думе, в земской управе, в театре—бестолковые речи, встрепанные слова.

Отречемся от старого мира! Дых горячий в затылки. Разрешите пройти! Ура!

В квартире Чердынцева хлопают в ладоши двери.

Учительницы в длиннополых шубах, увкорукавых кацавейках, в шалях. Учителя щетинистые, очкастые, бородатые, угрыстые. Крестьяне—медведи в рыжих азиямах, в расписных—сурик базарный—пимах.

Ворошатся, галдят, в грудах новеньких краснообложечных книг—отбирают по вкусу, уносят, бережно замотав в тряпье.

«Донская речь», «Записки революционера», «Хитрая механика», «История одного крестьянина».

Кажется, весь уезд пришел и роется, выискивая правду. И весь уезд вывалил на улицы, обминая сугробы.

— Студенты с флагами сняли народ в Пассаже!

— На улицу!!

— Отречемся!!!

Откуда выволокли телегу? Старики, чиновники, бабы—впряглись, волокут. И вот уже всем хочется говорить, всем хочется рассказать. И вот уже все карабкаются на четырехколесную трибуну. Землемер какой-то покричал и заплакал.

— Ура!

Поп лохматый взгромоздился.

— Братья! Не боимся полиции! Долой полицию!

— Бей!

— Братцы, не стоит марать руки, не тронь. Они теперь не страшны!

— Ура-а!

Купец Балыков с балкона говорит.

И купцы за свободу! Худолядый какой-то вихляется:

— Братцы, учредилловка все может. Пуцай кто ослушается, хоть бы сам царь—скажет учредилловка слово—и солдаты не станут стрелять ни в кого, а прямо—в ослушников учредилловки!

— Урра!

— Братцы! Вся забота—выбора провести по четыреххвостке. Без четыреххвостки никак нельзя. А коли дана свобода—пойдем, объясним простому народу—и будет всеобщее, прямое, равное, тайное.

— Ура! Отречемся от старого мира!.

Никто не сказал манифестантам, что царь передумал. Что царь сердится и вол и не позволяет напоминать ему о манифесте. На петергофском совещании Нарышкин славит безграмотность

простого народа. Человек с низким тупым лбом, впечатанный в полтинники, показывает в окно белый жидкокостый кулак.

— Никому не верю. Я самодержец. Верно, Нарышкин? Я, как батюшка, хочу.

· 5.

Поп стригановский лохматый не боится полиции. Валентина Филипповна—читает книжки мужицкому сходу. Двести верст от Ирбита—железная дорога. Нескоро доскачат новые люди, чтобы рассказать про окровавленные окраины Москвы, про расстрелянную Пресню. Не знает стригановский поп: погромщики ходят по Руси с царским портретом, а казацкая нагайка закрестила крамолу.

Громит с амвона стригановский поп распутную бабу Екатерину, пьяницу недоумка Николая. Радуются стригановские мужики:

— Здорово ругатца!

Придет Матвей к учительше, наморщит переносицу, слушает—замрет. Трудно лезет в голову учительшина речь. Слова всякие—социальный да нелегальный—камни под ногами.

Ночи сидит Матвей с коптилкой, муслит корявый перст, раздирает непокорные страницы.

«Начинаются крестьянские восстания. Из различных губерний приходят известия о нападении крестьян на помещичьи усадьбы, о конфискации крестьянами помещичьего хлеба, скота. Царское войско, на-голову разбитое японцами в Манчжурии, берет реванш над безоружным народом, предпринимая экспедицию против внутреннего врага—против деревенской бедноты»...

До боли сжимает виски свои Матвей, трет лоб, слово «конфискации» и слово «реванш» переворачивает, переворачивает, как жернова.

Первая книга такая, что про крестьян, попадается. Крута, малопонятна, да кто ее знает—может, с малопонятности-то еще слаще, еще нужней?

А вот и понятное: из десяти миллионов дворов—два миллиона зажиточных. Это хоть и Стриганово взять: Родион Карпыч да Пругин—два богатея, что метят на отруба. А бедняков—околоток.

Новое Стриганово перед Матвеем. И сам он новый,—сосчитан в красной книге, пошел в раскладку новый мужик, стригановский Матвей. Встал вместе с безлощадной вдовой Матреной, с худым пастухом Акимом, и с ними еще восемь миллионов дворов. Встал, распрямил загорбок.

Ночи напролет Валентина Филипповна над книгой. Петухи сосчитают зори, вмерзнут зори в оконное стекло, громыхнет сто-

рожиха ведрами. Щурит учительша близорукие глаза. Пенна выдавило кайму на переносице.

«Шесть виселиц первого марта. Разбитая бомбой карета Александра Второго. Шлиссельбург. Кровавое воскресенье...»

Новое Стриганово перед Валентиной Филипповной. И сама новая, готовая идти на смерть за стригановское счастье.

Родион Карпыч густобородый, выпивоха нечесанный Аким, безлешадная Матрена, у которой в избе кислая вонь и клопы. И еще миллионы Акимов, Родионов, Матрен—и против них царь и помещики. Смерть паразитам! В борьбе обрешь ты право свое!

Валентина Филипповна прикрепила на кнопку к бревенчатой стене портрет Спиридоновой в траурной рамке. Валентина Филипповна перебирает струны гитары, вполголоса напевает, думая об Акиме:

Но знай, как и знал ты, роди-и-мый,
 Что скоро из наших костей
 Поднимется мститель суровый,
 И бу-удет он все-ех нас грозней.

Громко говорит:

— Всеобщее, прямое, равное, тайное...

За посветлевшими окнами кричат петухи. Сторожиha плещет ведрами, возвращаясь от колодца.

6.

У Чердынцева—пятеро ребят. Старшие—десятилетний Виктор и погодка Глеб—считают себя социалистами-революционерами. Третий—белоголовый Володя—мирнообновленец. Двое младших—беспартийные клоуны Бим-Бом.

Клоуны Бим-Бом, если приходят гости, становятся в ряд и поют: «Сижу за решоткой в темнице сырой». Валентина Филипповна, когда приезжает в город, непременно останавливается у Чердынцевых. Малышам она делает страшные глаза:

— Ребятишки—пышки—пышки!..

Со старшими дружит и даже обещала свозить их как-нибудь в Стриганово.

Флеров, приехавший на учительский с'езд, тотчас принялся лакировать мебель Чердынцевых. Витя и Глеб охотно помогали счищать шкуркой старую краску с комода. Голландская сажа вскоре появилась пятнами на полу, на носу мирнообновленца и даже на двери в столовую.

Когда отец—на собрании родительского комитета, а мать—в кружке любителей драматического искусства, Виктор делает из спичечных головок и соли бомбы, которыми не безуспешно взрывает карету Александра Второго, сооруженную из стульев.

Глеб в это время агитирует среди малышей. Мирноснобновленец Володя рисует на обложке Кропоткина лошадь.

Зато, когда собрание и споры эсдека Беззубова с эсером Флеровым,—Витя и Глеб приткнутся на старом диване и не ложатся спать до двух, до трех часов ночи.

Как громко выкрикивает адвокат Ловцов и как смешно машет руками! Флеров, когда спорит, кланяется всем, словно кадит. Эсдек Беззубов остробычивается; вот-вот боднет Флерова. Валентина Филипповна и библиотекарьша Шерстобитова путаются в словах, и за них неловко. Крестьянин Матвей молчит, поджимает ноги, а когда говорит Валентина Филипповна, поддакивает:

— Это—правильно! Это—как есть!

В половине второго Виктору и Глебу суют по приске и отсылают спать. С сожалением оглядываются они на комнату, полную табачного дыма, на отца, прихлебывающего чай, на Валентину Филипповну, которая делает страшные глаза:

— Ребятишки—пышки—пышки!..

В два часа ночи Витя просовывает ершистую голову в двери зала и манит мать.

— Стихи написал. Прочитай.

И сердце замирает, слушает за дверью и злится на мать, когда она не может разобрать последнюю строчку:

Не давали все свободу
Деревенскому народу,
А давали лишь ему
Кабани да и тюрьму.
Все тогда они восстали,
Царя слушаться не стали:
Не возьмешь их под арест.
Струсил царь и пишет манифест.

И вот опять дымная комната. Собрание аплодирует автору. Добродушно поблещивает пенснэ Валентины Филипповны. Ласково смотрит русобородый Флеров. И много—полная комната—вздуродраженных людей. Протягивают руки, смеются, подзывают.

И снова полководные речи, полководные слова. Споры до рухани, до перебранки.

— Вы—демагог!..

— А вы—мещанин!..

И до рассвета вытаращенные глаза и лица.

Вот сейчас, вот сейчас! Разрешат спорные вопросы, договорятся, поймут—и новое засветится завтра, и новый родится Ирбит.

Не знали они: черная сотня ходит по Руси с царским портретом и скачет по ирбитскому тракту казачий отряд.

7.

Утром приезжал Родион Карпыч из Стригановки. Чердынцев поил его чаем, рассказывал про социализм.

Родион Карпыч выпил пять чашек, спросил:

— Можно у тебя лоб-то перекрестить?

И когда узнал, что на то и свобода совести, промычал:

— Телятины тебе привез. Небось, сохнешь возля книги; неколи на базар сходить. Телятина, мотри, вздорожала. Может, обидно тебе это, так лучше я на базар сведу.

Чердынцев телятину купил, дал книжечку Родиону Карпычу да «Ирбитский Листок», что печататься стал в типографии Воробьева.

Днем было народное чтение, заседание учительского с'езда, открытие крестьянского с'езда.

Все толковое, беспокойное, пытлиное, копошлиное прихлынуло от уезда к городу. Крестьянские сани, розвальни, колымаги, кошевки забили постоянные дворы. Конское ржанье, крики, суетня, сено по улицам. Город пропах овчиной. Лошаденки деревенские, мухрастые, мелкие, засунули морды в кошолки с кормом. Крестьянский пес потерял хозяина и жмется возле театрального под'езда. Азямы, тулупы, дубленые полушубки, бороды лесные, деготь, голоса...

Очередь ораторов. Приветствия. Хлопки. Речи до хрипоты. Кто-то пустил граммофонную пластинку — «Боже, царя храни»...

Видно, как вертится валик, и чертит граммофонная игла круги все уже и уже. Граммофона не слышно. Один затынул, остальные подхватили. Раскачивается, гремит: «Отречемся от старого мира». Где тут услышишь граммофон?

Чердынцеву поручено сорвать занятия в женской гимназии. В большую перемену запутался в толпах гомонливых девчат. Коричневые форменные платья, белые и черные передники, косы брикливые, острые, смешливые глаза.

— Петр Никанорыч! Петр Никанорыч!

— Бойкот тому, кто не идет на учительский с'езд!

Взрыв голосов. Визги. Закрутилось.

Начальница Клавдия Абросимовна растеряла из головы шпильки.

— Растопчите меня, Петр Никанорович, и через труп мой — на с'езд.

Чердынцев растоптать начальницу отказался, пошел в учительскую и произнес речь.

Учительница рукоделия, по прозвищу мопс, залаяла на Чердынцева:

— Гав, гав, гав!

Чердынцев передал приглашение старшим классам присутствовать на с'езде.

Тощий учитель географии зарделся чахоточным румянцем, прокашлял:

— Я пошел...

Но под пронзительным взглядом начальницы добавил:

— ...в класс...

И схватился за глобус.

Сторож подал звонок. Но гимназистки хлынули к раздевальне. Старшие разгоняли мелкоту.

Классная дама пыталась помещать кому-то одеваться, потянула за шарф. Шарф затрещал, и классная дама выпустила жертву. Тогда Клавдия Абросимовна упала в истерику на табурет швейцара. С пением «Варшавянки» шествовали мимо ученицы. Учитель географии в опустевшем коридоре задумчиво держал неповоротливый глобус. Лаяла учительница-мопс.

— Чей черед читать?—залетел законоучитель гимназии отец Алексей в театр на народное чтение.

Дохнул Чердынцеву в лицо спиртом и ладаном.

— Что же, братцы, обходите? Я тоже солидарен. Всегда рад для простого народа.

— Читать хотите?

— Нет ли чего из священника Петрова?

— Из священника Петрова нет, а вот брошюра «Сицилийские крестьяне».

— Гм... Сицилия, Сардиния, Крит? Согласен. Что пьян— извините. В честь свободы.

Сел за столиком среди лесных декораций и провозгласил в роде аллилуйя:

— Сицилийские крестьяне.

Бас соборный. Понравился. Разошелся, рукавами широкими машет. Зажег. Только на девятой странице сорвался. На место про попов налетел.

— «Нужны ли крестьянам попы?»—возопил и осекся. Словно задумался сам над этим вопросом.

Была не была. Дальше:

— «Нет. Гоните их в шею, дармоедов!.. (Гм!..). Паразиты, присосавшиеся»...

Отец Алексей помолчал, растерянно повторил:

— «Присосавшиеся»...

Ерзнул на стуле и снова повторил:

— «Присосавшиеся»...

— Слышали!—закричали с галерки:—Качай дальше!

— Про себя—неохота...

Чердынцев и Ловцов сидели в реквизитной и мирно курили, когда вбежал взбешенный поп, швырнул «Сицилийских крестьян» в угол и проплакал:

— Мерзавцы! Жаловаться буду!

Даже в реквизитной слышно было, как зал погрохатывал смехом.

Просмеявшись, Чердынцев вышел и об'явил, что батюшке нездоровится, и книгу дочитать придется без него.

Отец Алексей поныне не знает, чем кончается брошюрка «Сицилийские крестьяне».

Вечером в квартире Чердынцева шла раздача книг делегатам крестьянского с'езда. Матвей Зырянов, стригановский делегат, рылся в книгах, как петух в корму. Вглядывался в обложки, подолгу думал над заголовком, щупал книгу, словно это был ситец.

— Мне бы самую правильную найти,—говорил учительше озабоченно. Валентина Филипповна улыбалась, подсовывая одну книгу за другой.

Приручился к учительше Матвей. Бывало, приведет в школу дело какое—шапку ломит, глаз недоверчиво косит. И нету слов к учительше. Только что следит, ругань бы какая по привычке с языка не слетела.

И учительша не знала, что говорить с ним. Со стариками легче. Со стариками про хозяйство, про хлеб, про бездожде разговор. С бабами—добро. Те—о мужьях драчливых да про ребят.

Нахлынули новые слова, взбунтовали жизнь Валентины Филипповны. Потянуло к Матвею. Нет лучше слушателя. Слова не проронит. Захлебывается Валентина Филипповна, пересказ бунтарских книжек перехлестывает в свои слова. Коппились мысли годами. Не было слов. Сразу, целым ворохом, отыскались слова. Сразу, целым ворохом, хлынули.

— А вот слово—конфискация...—сказал Матвей и зажмурился:

— «Начинаются христианские восстания. Из различных губерней приходят вестия» ...

— Это что?—вытаращилась Валентина Филипповна.

— Книга такая есть.

И, зажмурясь, раскачиваясь, нараспев дальше строка за строкой впечатавшуюся в мозг первую нелегальную книгу.

— Кто дал вам эту книгу? Давайте, впредь я буду выбирать для вас. Ведь вы тут ни слова не поймете! И зачем учить наизусть? Какой вы странный.

Матвей смущенно молчал. Он думал: скажет ей заповедные слова,—задрожит, зажжется.

— Я не понимаю? Понимаю. Про Родиона Карпова писано, про Акима, про всех.

Валентина Филипповна поправила пенснэ и начала об'яснять значение слова «конфискация». Дала Матвею «Историю одного крестьянина», дала еще дюжину книг.

— Вы понимаете, Матвей, вам нужно руководство! А конфискация—это значит отобрание частной собственности. Вот, например, если я возьму и отберу у вас что-нибудь. Понятно? Впрочем, я не совсем удачный пример взяла... Конфискация... Это трудно вам об'яснить. Вы видите, как вредно читать без выбора книги?

Вместе поехали на крестьянский с'езд. Показывала Матвея в городе:

— Исключительно развит. Не подумаешь, что деревня...

— Приходите ко мне чай пить,—подхватили Зоя и Шерстобитова.

Матвея разглядывали, щупали, заставляли говорить. И Чердынцев разглядывал:

— Все ездил... сено, сметана... Совершенно новый человек...

Матвей вылез на с'езде, невнятно жевал слова, печаловался:

— Язык бы мне подлинше. Вон, как у того вихляя,—перстом на Ловцова:—все бы обсказал. Одно понимаю: иду против царя и бога, исправников и помещиков, еще—против двух мельонов дворов, которые Родионы...

Чердынцев вспомнил, как Родион Карпыч втридорога содрал за телятину. Подумал:

— У парня что-то есть...

Флеров руками всплеснул на Матвея:

— На вот! Варит! Ай, да Валентина Филипповна!

Беседуя с Валентиной Филипповной, забыл, как обычно делал, отодвинуться от нее.

Книги Матвей выбрал. Валентина Филипповна и Флеров сыпали вопросами. Другие подходили, сияли, пожимали Матвею руки и словно поздравляли друг друга:

— Самородок!

— Клад!

— Ай, да Валентина Филипповна!

Заспорили, к кому пойдет Матвей чай пить. Влетела в комнату Зоя Шварева:

— Граждане!

Оглянулись. Густорумяная Зоя была бледна, и толстые губы ее прыгали и дрожали.

— Воробьев арестован! Ловцов арестован! Граждане! Все к тюрьме освобождать товарищей!

Отхлынули от книг, загудели.

— Свобода совести! Свобода слова!..

Зоя похлопала себя по карману. Чердынцеву:

— Револьвер добыла. Убить бы кого—не знаю.

На дворе крестьянские подводы круто заворачивали и в'езжали в ворота.

8.

Матвея Зырянова изба весь порядок портит. Встала недуром поперек, овином косматым разбоченилась, тыном вышерла. Словно клин забит торчком.

В избе двое—Матвей да Матвеева matka. И по двору не людно. Коровешка с вышем пустым сломанный рог кажет да мерин опоеный с ноги на ногу переминается.

Сосед Матвеев, Родион Карпыч, через плетень:

— Как не боится робить на своем скакуне игривом? Залягат. Раскатится и в избу, бабам шутку пересказывать.

А Матвей вслед:

— Конфескацией пропечем, тоды смейся, топыры!

Обругался. Степенно прошел по двору, сунул мерину сена ворошек, крикнул:

— Мать, корову поила?

Пока старуха ведрами гремит, приткнулся к окну, раздирать культиными перстами слепившиеся страницы.

Сызмальства приучился к букве Матвей.

Затрепаны книжки в стригановской библиотеке, у иной ни корок, ни нутра.

Матвею дальняя родня Воробьев, Иван Михайлыч, хозяин ирбитской типографии, выходец из крестьян, нонче человек в больших назначениях.

Приспособили Матвея после школы в переплетную при типографии. Пошел бы по этой линии, да взяли отца на японца в поход, довелось Матвею хозяиновать за наибольшего.

Досугом библиотекарще книжки в переплет вгонял, да ни одной не переплетет, не прочитавши. На селе Матвею прозвище—переплетщик. С присмеюх зовут: переплетщик!

Оно верно: загнал в корки библиотечные книжки. Родиону Карпычу приходо-расходную переплел. И книги все перечел по Стригановке. И картон весь извел. И стало никому не нужным ремесло Матвеево по деревне.

Книги новые пришлют в библиотеку, сам купит на базаре от счастливой продажи. И все.

Как дал Чердынцев наемдни целую связку—не чаял Матвей до избы добраться. Каганец засветил и в'елся. Без разбора Чердынцев книги дал. Только распечатал первую присылку, за один раз приехала с царским манифестом.

Ну, таких книг Матвей не читывал. В переплетной говаривали—есть, мол, правильные книги, под запретом, а видеть не случалось.

Томилась запертая радость, вырвалась, хлынула громкой водой. Слово жерновом в сером зерне дремучего мюга. Жерновом через аржаные Стригановки. Погромыхивает по Руси. Погрохатывает по Руси.

А в городе Санкт-Петербурге человек с низким тупым лбом, с мелкими злыми глазами, прицепил на груди погромный значек «Союза русского народа».

— Запросто приходите,—просит Валентина Филипповна. И запросто приходит обещает Матвей.

— Обидно даже, за неровню меня чтете, все заделёе придумываете, неспроста. Вы человек и я человек. Давайте, Матвей, дружитья. Я учиться у вас хочу, Матвей. Вы—народ! С вами будешь будить деревню...

Ласково смотрит Валентина Филипповна, следостно Матвею, обещается запросить приходить опять.

Флеров к Валентине Филипповне приезжал, видел Матвей, как они рядышком шли к волости. А тут подкатила тогринская учителька, Галя Полюдова.

— Шуричка!—кричит:—Александр Иваныч!

Оглянувшись Валентина Филипповна, лоб наморщила:

— Не вытерпела таки!

— Ох, Валентина Филипповна, трудно ей. Залюбила она меня; слабая, да я-то любовью как-то не занимаюсь. Мне тридцать лет, а я женщины не знаю, говорят, никак без этого нельзя;—врут. Отгони мысли, поверни их на другое—и все. Ну, уговариваю я Галю, утешаю, ну и мечется, вот, скучает.

— В такие дни не до любви,—строго сказала Валентина Филипповна.

9.

По Стригановке толпами густобородые мужики, бабы рябые, девки в подвязанных круто платках. Все они—стригановцы—словно деланы из дерева, крепкие, тяжелые, недоточенные чурки в токарной мастерской. А вот простучат по ступенькам школьной лестницы, визгнут дверью, набьются в класс,—и будут стругать их, облачивать, ваострять, сверлить, сверлильные слова про мужичью волю, про хлеб, про подати. Флеров говорит, Валентина Филипповна говорит. Даже стригановский поп—круглоглазый здоровяк и тот разошелся:

— Не верьте,—кричит—попам, мужики. Рясу мы на брюхо, а в брюхе—мужиков хлеб. Урядник про то, чтобы подати выбирать, а попы, чтоб по царскому указу многая лета выть.

Кряхтят мужики от таких слов, поогатывают парни, сторож церковный, старый глухмень—в умиление впал, на проповедь подумал. Даже молитву Сирина про себя отщептал.

В это время в город въезжали казаки, а в Чердынцевскую квартиру стучался пристав. Бледное лицо Елизаветы Ивановны. Два полицейских к воротам, два во двор, к заднему крыльцу. Гурыба сапожищами по лестнице и с ними деревенский мужик, конфузится, а бредет и шапку не снял в прихожей. Улица локтями толкается. Краешком глаза на Чердынцев дом.

— Оцепили.

— Может, пожарные?

— Васенька, Вася, сожги, если любишь, книжку, что давеча принес.

— Дура, это Данилевский.

— Ну, их, Васенька, эти книги. Ну, их совсем!

Пришпилились базарные ряды. Кривая баба—каланча осела, молчит.

А Чердынцев захлопнул перед носом пристава спальню.

Чиркнул спичку. Списки ирбитской организации... книжки...
«В борьбе обретешь ты право свое»... Пепел в печь.

— Пожалуйте.

Пристав вошел и понюхал. Околоточный вошел и понюхал.

— Гарь.

— Это как вам угодно.

Выволокли вперед мужичка полицейские.

— Знаете сего человека?

Глянул Чердынцев—Родион Карпыч.

— Нет, говорит,—никогда не видал.

— А вот он заявил, что книг вы ему давали.

— Может, он пьян был, перепутал. Никогда не видывал этой хари.

Выхаркнули сундуки из чрева своего ворохи тряпья, рухляди, обносков, шкафы расхлебянулись, выдернулся комод всеми ящиками. Полицейский засунул руку под простыни.

Пристав отложил с этажерки «Половой вопрос» Фореля.

— Но позвольте...

— Все, что окажется непротивозаконным,—возвратим.

«Аленький цветочек» Аксакова. Забрали.

— Знаем это аленькое...

Десять пудов литературы зашты в стену на чердаке. Пока копошатся неопытные полицейские в верхнем этаже, внизу Глеб и Виятэр сжигают Кропоткина. Клоуны Бим-Бом — младший отпрыск рода Чердынцевых — становятся в ряд перед приставом и неожиданно запевают:

Сизу за лесоткой в темнице сы-ой,
Вскоймъенный на воле с-вл молодой.

— Цыц вы, марш в свою комнату!..

Пристав кисло улыбается.

Когда последняя страница Кропоткина почернела и скрючилась под огнем, Витя выглянул в окно.

У крыльца топтались полицейские. Один веснушчатый, чистенький, как таракан, позевывал. Другой с круглым рыхлым лицом—блин безглазый—чесался. Ненависть опалила все существо Вити. Перед потемневшими глазами полицейские разбухали, росли, у безглазого одна кобура занимала полнеба.

В комнату вошла Елизавета Ивановна. Витя увидел сухие, горячие глаза, искривленные ненавистью губы.

— Проклятые!..—сказала она.

И неожиданно для себя заплакала.

Зоя Шварева заведует приютом девочек. И сама Зоя и приютянки, беловолосые, курносые выростки,—представители ирбит-

ского анархизма. Все они стриженные и все ненавидят паря и полицию и все они читали Кропоткина, Бакунина. Ночью ходят под предводительством Зои обрывать провода, бить стекла в доме исправника, выворачивать на улицах столбы.

Когда привели к Зое «настоящего», которого нужно было спрятать, Зоя послала куда-то двух девочек и вскоре они вернулись, заявив, что все готово.

Тогда «настоящего» провели наверх, в каморку, сооруженную Зоей и приютянками. Каморка была секретной, с замаскированной дверью, посторонний глаз и не узнал бы, что здесь вмещается жильё. Предполагалось в каморке фабриковать бомбы и прокламации. Но, за неимением взрывчатых веществ, шрифта и бумаги, комната пустовала.

Сюда складывать стали всякий хлам.

«Настоящий» оказался боевым террористом из центра, убил где-то губернатора и теперь скрывался от сыска. Зоя поведала свой секрет приятелям, но показать террориста отказалась. Впрочем, охотно принимала подарки для него, одежду, обувь, конфеты. «Настоящий» скучал, громко кричал во сне, мало ел, рассказывал Зое про тюрьмы, в которых провел полжизни, про голодовки, карцер, про зверство тюремщиков.

Зоя чистила керосином свой «бульдог» и упрашивала Чердынцева позволить ей убить пристава, делавшего обыск.

Войска великого князя Владимира выстрелами будят дремотную страну. Кровью смывают с сердца наивную веру в царя. Ленин в рупор рабочих газет кричит: «Да здравствует восставший пролетариат».

Путаный поп Гапон по трупам рабочих плуствует между восстанием и охранкой. А сюда, в бескрайние пустоши, долетают слабые обрывки выстрелов и гневных песен. Поют приютянки, сидя на подоконниках:

Царь испугался,
Издав манифест:
Мертвым—свободу,
Живых—под арест.

А сюда, в деревянный город Ирбит, приехали новенькие, с запахом краски книги. И не умеют радоваться, но радоваться хотят ирбитчане. И не умеет рыться в чужих квартирах веснушчатый пристав.

И не в кого выстрелить толстой, саженного роста, анархистке Зое с усиками на губе. Через неделю после ареста Ловцова и Воробьева схватили Флерова и купца Балыкова, что речи говорил с балкона. К Зое приходила Галя Полудова. Плакала, рассказывала, какой прекрасный человек Флеров.

Зоя предложила ей:

— Валяй к нам, в анархисты!

— Нет уж, — ответила Галя, вытирая слезы со щек: — если Александр Иванович за эсеров, так и я за них.

По великопостным улицам ездят казаки, орут песни.

Зоя и Галя ходили в тюремную церковь. Повернулись спиной к иконостасам, гнусавому тюремному попику, к наивному глазу в треугольнике над царскими воротами.

Хоры заделаны решеткой. За решеткой—«они». Толстый Балыков криво улыбается, силится быть спокойным—выдержка, выдержка.

Рядом—Ловцов. Осунулся, потемнел, согнулся. Не узнать заправилу кружка любителей драматического искусства, бравого агитатора уличных митингов и демонстраций.

Воробьев широким мужицким крестом бросает кривулину—тень по церковному потолку.

— Тьфу!—плюется Зоя, и на нее косятся сморщенные молельщицы;—революционер называется!..

А вот и Флеров. Галя кивает ему, кивает и он. Такой же, как всегда. Гале кажется, что лицо его светится, сияние в его глазах.

— Клянусь,—мысленно кричит ему и верит, что дойдут до него ее безмолвные крики:—клянусь, пострадаю и я за народное дело, как пострадали ты.—И Галя видит, видит уже, как вцепились, бряцают кандалы на нем и на ней. Рядом, вместе на каторгу и все дороги, дороги, безлюдье, а они идут...

Попик тюремный звякнул цепочкой кадила. Угодники темноты с курчавыми бараньими головами толпятся со стен, и также темны молельщицы-старушки.

— Идем,—толкает Зоя,—идем, а то заметят и больше не пустят.

Вышли из церковки. Дымилось небо над городом. Орала казаки, и обыватели накрепко запахивали ставни.

На каланче проплакало семь. Семь часов вечера, двадцать восьмое марта. В этот час, в этот день в непонятном далеке, в пустой даче Озерков, рабочие казнили предателя Гапона.

— Заметила, он сиял?..—прешелтала Галя.

Зоя пробасила:

— Нужно организовать побег.

Вечером Зоя перечитывала место с побегом в «Записках революционера», а Галя Полюдова впервые читала адрес путаного Гапона (буду, как Флеров, развитая, начитанная и буду все об'яснять простому народу!). И уснула с развернутой первой страницей.

«Государь, мы, рабочие и жители С.-Петербурге, разных сословий, наши жены и дети и беспомощные старцы-родители, пришли к тебе, государь, искать правды и защиты».

Был март, дымилось над городом небо. Орала по улицам песни сиплогодосые казэки.

Стригановка все та же: избы вразброд, бестолковые, нескладные,—челядь вокруг кичливого барина в высокой плисовой

шапке-задире. Барин белотел, крепок, челядь худа и раскарячилась, как пьяный тележник. Стригановка все та же. Все те же паршивые псы и те же плетни, завалившиеся у овинов. И также дерутся свиньи в тесном хлеву, а по воскресным дням идет—матерится, надрызгавшись, Аким с окраины села от кабатчика.

Но март дает себя знать. В полдень на солнце, глядишь—пообмякнет бок сугроба. Синяя сосулька свесится с крыши, обломится и рассыплется хрустом. И запах ли земной почуяли мужики—походка торопкая, голоса выпрямились, звенят.

Матвей похудел, осунулся, глаза—от книг видно—красные, но веселый в глазах блеск.

— Отречемся от старого мира...

А старый-то мир,—это, поди, урядник с кокардой да вон еще Карп, Родионов отец, что округу под ногу взял.

В избе орудуй. Бабу забил, сыновей не выделяет, снох мнет.

А село не тронь. Отрекается село от себя, Карп, и от отродья твоего тоже.

Родион—любезный, да один чорт.

— Все ваши слова принимаю,—кричит,—а вот как царя вы хулите, в сердце у меня мутит. Никак на это не согласен. Посуду бей, а самовар не трогай.

Матвей на него:

— Будет, почаевничали. Коли за край ухватили, то и самовар долой...

Стабунились мужики, ситцевый флаг выкинули. Прошли селом, петь не пели—голоса не сошлись, а галдели очень.

Маленько погромили Родионову лавку, оттуда к кабатчику Пругину, окна выбили и разошлись.

В Тиграх Галя Полюдова тоже собрала было мужиков, да оробела, речь придумала—все из головы вылетело. Глазеют на нее, ждут. Слеза даже проступила с досады. Вынула тогда книгу и стала читать. Этим только и оправдалась. После схода покатила к Флерову в Коркулевку.

— Забрали вашего учителя,—об'ясняет сходу:—борец он за свободу, мужики.

Раздала листовки, какие были, вернулась обратно и всю ночь проплакала, обнимая фотографию Флерова.

Матвей в сумерки поймал Родиона Карпыча, рванул за шиворот:

— А ежели скажу мужикам, как ты доносы делаешь да в городе в учительских квартирах шарить...

Родион Карпыч попробовал, крепко ли держит Матвей, глаза отвел:

— Ты не дергай очень, оторвешь.

— А коли мужики с тебя шкуру сдерут, тогда как?..

Отыскал и урядника.

— Читаем книги,—говорит ему;—тебе, поди, это не нравится?

— Коли грамотен—читай.

— Ладно, а ты будь про то безвестен...

— Разве углядишь?

И Стригановка вслушивалась, ворошилась, переспрашивала:
— Выходит, мы горбом грош выьем, а они на наше, на кровное—хоровод?

— Так выходит...

Читала Валентина Филипповна про устройство в разных других странах, поп Иван с амвона анафеме предавал всех царей и министров. А в городе шли обыски, аресты, и только Зоя по-прежнему, по ночам, ходила обрывать провода и столбы выворачивать.

Было тайное собрание в квартире доктора Карпинского.

Подремывали на кухне разогретые рюмкой водки кучера. Звякала посуда на подносах. Библиотекариша Шерстобитова жарила на рояли краковяк, наплясывали барышни шерочка с машерочкой, оставив грызть орехи по углам увальней-кавалеров. А в задней комнате происходило заседание, шли дебаты, постановляли вести подпольную работу, укреплять учительский союз, будить деревню.

— На нас, интеллигенции, лежит великая миссия, мы, интеллигенция, обязаны будить народ...

Доктор Карпинский, накрахмаленный, в брелоках, успеваеет насмешить молодежь, провальсировав мимоходом с фельдшерницей Красавиной, попутно торопит с ужином, похлопывает дружески председателя земской управы, об'явившего девять бескозырных. Затем забегает в задние комнаты, кивает одобрительно оратору, подвигает кресло Валентине Филипповне, забывшей сесть, предлагает спрятавшемуся в угол стригановскому отцу Ивану папиросу и снова исчезает.

На улицах пахнет водой, талым снегом. Валентина Филипповна и Елизавета Ивановна наперебой говорят. Молча постукивает тростью за ними Петр Никанорович Чердынцев. Светает. Гости расходятся с конспиративного бала.

Доктор Карпинский сидит посреди неприбранного зала, забросанного конфетными бумажками, и курит:

— Увечная Россия, что у тебя впереди? Опять привозили в приемный покой исхлестанного скучающей казацкой нагайкой мещанина. Спьяна пел на улице марсельезу. А эти хорошие, честные люди говорят, говорят. И ничего нельзя больше делать. Стоп. Ир-бит. Да.

Доктор Карпинский выпивает рюмку вина и расстегивает на ходу запонки. Спать.

Не будут спать только Валентина Филипповна и Елизавета Ивановна.

Елизавета Ивановна расскажет, как ее сбoshли ролью в кружке любителей драматического искусства, как они с мужем не подходят по темпераменту, она—холодная натура, а ему это тяжело.

Переберут все вопросы, поднятые на собрании, будет подробно расписана картина обыска у Чердынцевых.

Валентина Филипповна, поглаживая в темноте сухую руку новсы своей старшей подруги, поведает, как хочется ехать на курсы, учиться, жить в большом городе, а потом, совсем уж под утро, сознается, что любит Флерова и, кажется, не без ответа.

12.

Библиотекарша Шерстобитова, толстуха Шерстобитиха, где ты теперь?

Неразлучная тройка—Зоя, Галя Полудова и Шерстобитиха. Благотворительный спектакль, сбор в пользу «политических»—все трое на ногах. Пикник за город и под видом пикника митинг—все трое пекут мясные пирожки.

Зое подавай крови, непременно, чтобы террористический акт. Шерстобитихе, Гале—пострадать бы. Но все они громкоголосы, и все размахивают руками. И даже когда взамен старого пристава, убранного за нерадивость, прислали нового, по фамилии Челюсть, Шерстобитиха одна не приглушила голоса до шопота. Мелькает обтрепанным подолом:

— Да здравствует учредительное собрание!

И узнает весь Ирбит—в четверг у Шерстобитихи собрание. И после собрания опять подолом мельтешит, а других похватают. Разыщет знакомого мужика на базаре, к себе притащит. И долго мужик моргает, ошалев, так заговорит его баба.

В библиотеке нелегальщину в «Капитанскую дочку», «Братьев Карамазовых» вошьет, и ходит по рукам подписчиков книга с «Хитрой механикой» вместо четвертой главы.

Чердынцеву мужичков присылает с запиской; дескать, предъявителю сего, очень сознательному работнику (вполне наш!), вужно дать книги. Чердынцев давал, а на утро приносили с обыском и приводили понятым «сознательного работника».

— К чорту этот простой народ!—кричал Чердынцев;—мелкие собственники, дуботолы,—к чорту деревню! Правы эсдеки; одна надежда на рабочего.

Делопроизводитель полицейского управления Малышев, малокровный молодой человек, втайне сочувствовал «господам революционерам», как он их называл. Малышев доставлял сведения о настроениях верхов, предупреждал о предстоящих обысках. Он рассказал, что восклицание Чердынцева про мужика-дуботолу спасло его от тюрьмы.

Про Шерстобитову Малышев говорил, что ее терпят, надеясь через нее нащупать организацию.

Может быть, отсюда выполз сначала шопот, потом громкие голоса:

— Шерстобитова—провокатор.

Зоя угрожала набить морду тому, кто скажет при ней это слово. При ней не говорили, но говорили без нее. Шерстобитиха плакала, бегала по городу и требовала третейского суда. Наконец, она собрала кучку в збудораженных людей и пошла к тюрьме: освобождать политических.

К этому времени выяснили, что к провокации она непричастна. Но ее уже схватили, продержали неделю и затем предложили выехать.

— Дура, дура!—сокрушался городской голова:—и чего им дались эти свободы? Мало ли занятий просвещенному человеку? Театр, мысли, там, книги, вино. Наконец, умеренно, карты.

— Вино и карты у них почитаются позором.

— Ах, дуры, дуры! И зачем?..

Винт и херес. Херес и малера. А в тихие послеобеденные часы, когда из городского сада еще не приползли заунывные рулады оркестра,—пасьянс—«косыночка», «наполеон», «портретная галерея» под бормотанье:

— Что означает пасьянс? терпение. Терпение, терпение, городской голова.

Шерстобитиха перед отъездом уничтожила красный флаг, который хранился у нее со дня манифестации.

13.

Комитет трезвости составляется из земских начальников, и председатель комитета—председатель с'езда земских начальников. Земским начальникам и книги в руки насаждать всероссийскую трезвость. Впрочем, дело куда глубже. Задача комитета—зачитывать народ народными чтениями, затуманивать туманными картинками: самодержавие, православие, народность. Но жалованье комитетчикам не полагается, а земские начальники—пьяницы и прощальги. Поэтому работа комитета целиком на членах-соревнователях, один из соревнователей—Петр Никанорович Чердынцев.

Чудное дело! Давно утихомирили тех, что попрытче, давно безмолвствует Пассаж, а в городском театре репетиции пьесы «Не так живи, как хочется».

Один комитет трезвости орудует. Тяжелые тюки запретных книг упаковывает Петр Никанорыч в холстину. Сверху—комитетская печать, и помчал почтовая тройка с колокольчиками в каждое село по тюку, в каждый поселок по вязке.

Принимай, мужик, комитетский гостинец.

Глух мужик, водка гудом в голове. Иди, будишься, допросись. Не будишься, не допросишься. Где же поднять такую махинуцу. Дайте Круппу выкормить большеротые пушки, дайте землю встряхнуть да так, чтобы с'ехали на бекрень соломенные села, чтобы брызнула кровь винтом и зашагал чтоб левой-правой под окрик взводного черв всю Расею стригановский мужик, Матвей.

И окопы чтоб гнойные, и чтоб ноги и руки оторванные, как в детской забаве жук. И чтобы парад калек и чтобы рев раздражающий:

— Делой бойню, штык на тыл, тылу в живот и три раза вокруг себя.

И братанье, и Совет рабочих и солдатских депутатов, и тысяченогий бег фронтовиков до дому—в Барнаул, в Полтаву, в Уфимскую, в Вятскую, в Кокчетав. И тиф. И торф тифа—трупное топливо...

Доменная печь, выплавь вар из рыхлети стригановской. Электрифицируй деревню Тогры и Коржулевку—деревню, где учителем Флеров. И ту—за рекой—в бору поклонную Степановку, которую Галя Полудова хотела с'агитировать.

Рассовала в мужичьи воза прокламации, приехали по домам мужики, нашли.

Одна беда—не оказалось в Степановке грамотных. Были двое—и те в солдаты ушли. Повертели, повертели листки, искурить опасались; сдали от греха уряднику, а урядник препроводил в Ирбит.

«Акт.

о здаче 30 шт. «Царь-кровопийца» и 19 шт. «За землю, за волю», итого 49 шт. сданные безспрочтения сгласно безграмотности крестьян д. Леонидовки Говорухинской вол. кои присовокупляю».

Это было в покос. Тогда же библиотекаршу Шерстобитову выслали в Тюмень. Провожали с революционными песнями до столбов за городом.

Перецеловались по-очереди, и запыхлила таратайка по тракту. А вслед дисканта учительниц, клиросный тенорок Флерова, Чердынцева бас:

Юный изгнанник в телеге той мчи-ится,
В ней по бокам два жандарма сидя-я-ят.
Сбейте оковы, дайте мне вволю,
Я научу вас свободу любить...

Жандармов по бокам библиотекарши не было, а сидели в таратайке Аля и Олимп, библиотекаршины дети. Не было и оков. Только корзина, привязанная на задке, да саквояж под козлами. Но как-ни-как—ссылка, потеря места. На дорогу пришлось собирать денег. Галя Полудова всплакнула и шепнула Валентине Филипповне:

— Счастливая! Я тоже хотела бы пострадать.

Флерова выпустили из тюрьмы в апреле. Тогда же выпущен был Большаков. Флеров пришел из тюрьмы прямо к Чердынцевым.

— Магомет спит? Здравствуйте, барыня!

— А вы не отвыкли в тюрьме называть меня барыней?—расцеловала Елизавета Ивановна гостя.

О тюрьме Флеров отзывался хорошо.

— Чего говорить. Баско. Досада—брюки одному не докончил. Скроил, а шить-то не успел—выпустили. Просился—не оставляют. Строгости.

Встал и Магомет—Петр Никанорович. Прихлебывал с блюда гость, новости слушал. Елизавете Ивановне нейдет—разговор на Валентину Филипповну перевести. Любят замужние женщины сватать. Флеров ничего, усмешается.

— Симпатичный,—говорит,—индивидуум Валентина Филипповна. Уважаю.

Поехал в Коркулевку—землю пахать, сеять. В городе показался снова на проводах библиотекаря. Чернущий, зарос. А все такой же—обрадованные приветные глаза, говорок пермяцкий на о и так же, когда говорит, кланяется, словно кадит. После проводов пили чай. Чердынцев жаловался—нельзя работать. Против окон целый день шпик. На уроках торчит начальство. Обыски, аресты. Не шевельнись. Эслека Беззубова из школы убрали: иконы у мужиков снимал. Только в Стригановке не стоит работа. Поп продолжает беседы, Валентина Филипповна чтения ведет.

— Симпатичный индивидуум,—повторил Флеров, и Елизавета Ивановна поняла: пора.

— Почему бы не пожениться вам, Александр Иванович?

— Эх, барыня! И сам думал. Только на ком жениться?

— Вот недогадливый! А Валентина?

— Ну, это еще захочет ли она?

Елизавета Ивановна горячо принялась за переговоры.

Любовь. Это слово не говорилось. Говорилось: симпатия, индивид, половой подбор.

Валентина Филипповна поправляла пенснэ, спорила о равноправии и запросах духа. Флеров крепкими рукопожатиями выражал глубину своих чувств.

Елизавета Ивановна хлопотала, взвешивала все «за» и все «против» с Валентиной и заявляла Флерову:

— Мы думаем, что пора вам окончательно выяснить.

Флерова целый день лихорадило. Он бегал из угла в угол, а Валентина и Елизавета Ивановна сидели и ждали.

— Мне тридцать лет,—начал Флеров.

— Тридцать один,—поправила Елизавета Ивановна.

— Ну, пускай, тридцать один. Не сбивайте, барыня. Кто я? Сельский учитель. Отец меня в попы ладил, семинарию я прошел, большую веру имел, посты соблюдал, готовился к сану. А тут у меня разочарованье вышло. Охладел.

Валентина Филипповна и Елизавета Ивановна молчали. Флеров махал рукой. Словно кадил.

— Ну, что еще? Характер—уживчивый. Темперамент, думаю, средний. Не курю. Сочувствую эсерам. Встаю рано, часов никак в шесть. Впрочем, это к делу не относится... Елизавета Ивановна, у вас есть эта самая толстенная книга?

— Половой вопрос? У нас его при обыске забрали, но я в библиотеке взяла.

Появились толстые тома Фореля и еще медицинские тома.

— Пойду насчет самовара...—зашевелилась Елизавета Ивановна.

— Вы нас нисколько не стесняете.

— Уж лучше вы одни.

Валентина Филипповна, полистав, прочла:

«При выборе объекта любви следует обратить величайшее внимание и на духовные качества, при чем сильный характер и интеллигентность должны пользоваться особыми предпочтениями».

— Вы против детей?—спросил Флеров.

— Пока да.

— Какое предохранительное средство предпочитаете?

— Мне все равно.

«Имея в виду подбор талантов, рекомендуют выдающимся в умственном отношении мужчинам и женщинам полигамию».

— Ну, мы не какие-нибудь Максимы Горькие, у меня, по крайней мере, талантов нет.

— Чорт те што, как мы определим нормы сношений, коли оба девственники? Задача. Елизавета Ивановна! Ушла...

Валентина Филипповна склонилась над томом Фореля:

— Может быть, оставим вопрос открытым? И как быть с вейнингеровским ж. и м?..

— Уважаемая Валентина Филипповна! Позвольте вам сказать, положила руку на сердце: у вас достаточное количество и ж. и м..!

Когда было достигнуто полное соглашение по всем пунктам, Валентина Филипповна сказала:

— Все так, но замуж я выйду только по окончании курсов.

— Это будет даже проверкой вашей привязанности,—подхватила, входя, Елизавета Ивановна.

— Но как же мне быть с моей половой функцией?—взмолился Флеров.

— Вы говорили, что вам ничего не стоит довернуть мысли на другое?

14.

Мечет стог Матвей, жерди рубят на изгородь, падает пар. И все беспокойство в нем, все не по себе. Забыл что-то, что хотел сделать, или подумать надо что-то нужное, а чего—не найдешь. Доискался.

— Учительша долго из города не едет.

Отмахнулся, осерчал. А мыслишка треплется:

— Могли арестовать. Неделю ездит.

И сам себя разоблачил:

— Говорить с ней хочется, сидеть рядышком. Ну, а что же плохого? Сама всегда запросто приходит звала, без затей.

Вспомнилась—румяная, крепконогая. Это ровно бы и ни к чему вспоминать.

Крякнул, копну целую на вилах поднял, пихнул на стог.

Приехала Валентина Филипповна. День живет, два, три. Не может Матвей пойти. Пойдет—вернется. И так каждый вечер после работ.

Стадо гонит Аким. Бабы встречают у ворот скотину. Коровы пятнастые вытягивают шеи, мычат.

Вздрыгнула,—в окне промелькнула Валентина Филипповна. Вошла.

— Что не приходите?

Голос приветливый и какой-то не такой, как всегда.

— Влюбился в вас,—горестно сообщил Матвей.

Помолчала Валентина Филипповна и тихо:

— Да, тогда вправду лучше не ходить.

И вышел Матвей, поплелся по улице. Напылило стадо, горькая пыль во рту. От пыли окно затворила Валентина Филипповна. Подошла к постели. Горько усмехнулась:

— Вот и держись с ними запросто, по-человечьи. Смешно: я и Матвей. Смешно.

На стене в траурной раме портрет Спиридоновой и рядом рассохшаяся пыльная гитара на гвозде.

Привычно тянется рука к грифу. Думая о Матвее, о мужиках, о Стригановке, мурлычит:

Но знай, как и знал ты, роди-и-мый,
 Что скоро из наших костей
 Поднимется мститель суровый,
 И бу-у-дет он всех нас грозней.

Вдруг оборвала, гитару швырнула на кровать так, что кузовом хрустнуло и нестройно запело.

Спросила вслух:

— Все-таки, значит, неровня?

И, поправив пененэ:

— Честно отвечу: нет.

Когда Стригановка косит, целыми днями пустует село.

Часто дыша, выбросив розовый язык, пробежит кобель, отыскивая короткую тень за тыном. Рев поднимет ребенок. Верно один в избе и наелся угля или стукнулся лбом, или обмарался. Устанет реветь и замолкнет. Солнце застряло вверху и не дышет. Как это не вспыхнет горячая солома! Вымерло село.

Два поповских дома у церкви. Оба с палисадами и в каждом палисаде мальвы, и в обоих просторных дворах белится полотно.

Отец Геннадий босые ноги поставил в таз с водой и пишет донес исправнику на отца Ивана:

«Вторым иереем церкви Флора и Лавра в Стригановке пребывая, доношу до сведения вашего высококого благородия о непопулярности иерея Ивана Вознесенского, коим богохульно крамольные слова изрыгаются в месторасположении храма, подрывая при сем зело скудные доходы, поелико на мои службы не ходят, а прут к нему услышать его революционный бунт. Полную опись богохульств со слов диаконицы прилагаю.

Иерей Геннадий Воздвиженский».

15.

«Настоящего» вызвали, и он уехал с присланным подложным документом.

Эдек Беззубов голодал без места, перебивался перепиской. Пришел как-то к Чердынцеву мрачно хмурить лоб.

— Чепухово. Революция бита, мы зарвались, подполье—попехонская дурость. Надо закрыть лавочку, по-европейски итти на широкую арену общественности, сражаться, требовать реформ...

Чердынцев исподтишка оглядывал его: драное пальтишко, нестиранное белье.

В соседней комнате состоялось совещание супругов, пока пятерка стриженных под второй номер ребят таращилась на нахохленного гостя. Вернувшись, Чердынцев наводил разговор на театр и, наконец, спросил обрадованно, как бы вспомнив:

— Кстати! Вы не огласились бы взять переписку ролей?

— Что же, давайте,—деланно-небрежно отозвался Беззубов.

— По десяти копеек.

— Я переписывал по пять.

— Нет, у них уж такая норма.

— У нас такая норма,—повторила Елизавета Ивановна.

Беззубов переписал «Доходное место», «Дети Ванюшина», «На дне». Чердынцев расплачивался и требовал расписки на имя кружка любителей драматического искусства.

— Что же у вас ни одна из переписанных пьес не идет?—спросил однажды Беззубов ехидно.

Елизавета Ивановна густо покраснела.

— Разве? Ах, да, верно. Значит, отложили...

Чердынцевы за городом в березняке целыми днями. Дачу заменяет. Бутерброды, бутылка молока кипяченого, чайник.

Бугры называется пригородный лес. Жиденький, червь поел, а все-таки лес.

Силами заправился Чердынцев. Даже со старшими—с Виктором и Глебом—досуг выбрал поговорить.

Подивился:

— Подрастают, подрастают, бестии!

Через долгий промежуток Беззубова встретил.

— Так думаете, биты?

Беззубов усмехнулся.

— Видели Ловцова? Как выпустили из тюрьмы, законпатился, носу никуда не кажет. Заходил я к нему—жена перед носом двери захлопнула. Дома нет! Какое дома нет! Сидит. Да опасно: соблазну!

— А нет, не бита,—закричал Чердынцев, замахал руками,— в Стригановке не бита!

Беззубов взглядывался.

— Шутите, али есерьез, не поймешь вас. То соглашались, что дуботолы, то назад.

— Матвей приезжал. Поглядел на него и понял, что не бита. Еще посмотрим, Беззубыч, еще посмотрим!

Похохатывает Чердынцев, Беззубова треплет, рассказывает, как стригановский поп анафемит.

— А в Екатеринбург епископ Владимир лупит студентов и манифестантов, а в Москве...

— Но Матвей, Матвей!

— Косноязычный! А ваша Зоя с террористом жила. И вообще к чорту все, к чорту! Я бы сейчас хотел главным бухгалтером быть, сытое жалованье, с бухгалтершей спать, и чего еще? Граммофон, что ли?

Ушел Беззубов. Чердынцев все еще похохатывает.

— Врешь, еще не бита! Стригановка есть! Нам глотки заткнули, а там вопят, а там растут. Спи с бухгалтершей, Ирбит! Чорт с тобой, Ирбит! В Стригановку верую!

Впрямь в Матвея поверить можно. После разговора короткого с учительшей сперва заскучал. Да как встряхнется, как прикрикнет:

— Балуй, чорт!

Прихлынуло к сердцу. Захлопотал. От избы к избе поволок по селу радость.

— Счастье наше, мужики, мозги наши раскачали. Теперь до всего презойдем.

Сомневается гнилой мужик Василий:

— Господская игра.

В городе как нападеешь. Бывал Матвей в городе, бывал Василий в городе. Матвей рукомеслу приучился, любопытство приобрел.

А Василий в кучерах—ухваткам, похабности.

Девок портить приехал да дурную болезнь привез. Василий городу не верит.

— Знаю,—говорит,—сам прошел.

Матвей доверяет.

— Эх, говорит, нам бы по-городски—театры завести и дома настоящие, и всякое устройство.

— Не верь, Матвей, ихним слободам, — игрище, совсем пустяк. Нанимался я у купцов Мозгутиных. С кухни тут барыня к себе потребовала.

— Раздевайся, чтобы моментально.

— Почему, говорю, так?

— В ванну полезешь мыться.

А у господ такие ванны—корыта каменные. В баню неохота животы лащить, так дома полощутся.

Полез я в ванну, однако лапортую:

— Не на то нанимался, чтоб стыд при бабском глазе разувать, а нанимался при конях ходить.

Топнула тухлей:

— Молчать, говорит, я тебя полюбовником хочу исделать, остолоп.

Так вот и тут. Побаловать им, поиграть охота. Зря, Матвей, доверяешься. Брось.

Еще старик слово свое ввернул:

— Слыхали, в Липатове агетатора мужики убили? Вот как с ними обращаться след.

— Неправильно,—отвечает Матвей,—всякие есть. Взять бабу Перовскую Софью. Вполне за нашего брата стояла и кончину приняла. Таких большие тысячи, на купчих ты, Василий, мне не мерь!

Распалился, такие начал высказывать, откуда взялось.

— Погуще попа Ивана!

— А што вы думаете? Горазд.

— Пораскинешь,—мужицкая наша сила большая, сколькo деревень на всю Расею. Кабы поднажать нацот землицы, а?

16.

Била посуду, пересаливала суп. Поднимала веником пылицу. Перегнувшись, тащила помойное ведро и выхлестывала, не дойдя до помойки, на радость вороватым грачам.

Деревенская Дарья, та самая, которую облобызал Ловцов, полудурье Дарья, за одну прислугу у Чердынцевых, три рубля в месяц и на кофточку в Пасхе и Рождестве.

В суматошные дни революции не попевала затирать грязь, натопанную от прихожей в зало, к заваленному книгами столу. Когда утихомирилось, осело, сиживала на лавочке у форот, отпыривая губу, поплеывая семячки.

Как-то пришла в детскую и сказала напрямки:

— Буквам бы поучили, чем сажей усы мне мазать по ночем.

Детская быстро перестроилась в школу. Пятеро учителей образовали очередь. Один из пятерых по совместительству исполнял обязанности сторожа и звонил в колокольчик перемены.

Дарья при общем одобрении вывела каракулю, которую все признали за букву О. С этого началось обучение.

— В учительши определюсь,—радуется Дарья. И наваливается грудью на стол.

Осень. В сени забрызгивается изморозь через выбитое окошечко над дверью. Барабанит по крышам ливень. Володя Чердынцев мастерит из рябины бусы. Дарья босиком шлепает по двору, и между большим пальцем ноги у ней протиснулася жидкая глина.

Доктор Карпинский, позевывая, перечитывает Писарева. Брызги дождя падают через открытое окно на страницы.

— Кисейные барышни,—говорит доктор,—кисейный дождь...

Первое собрание после каникул чердынского кружка самообразования. Реферат на тему «Мещанство и интеллигенция».

А больше всего толков по городу о появлении тайной «Лиги любви».

Доктору Карпинскому привозили забеременевшую тринадцатилетнюю гимназистку.

Безубов пишет в «Ирбитский Листок» фельетон. Чердынцев твердит:

— Верую в Стригановку, верую!..

А вера выветрилась, веры нет.

Елизавета Ивановна по женским собраниям. Визг, пискотня. Послать протест Вейнингеру против нападков на женщин! Позвольте! Вейнингера нет в живых. Тогда предать сожжению библиотечную книжку «Пол и характер». К порядку! Слово принадлежит Зое.

Сначала ничего не поняла Елизавета Ивановна в бормотании мирнообновленца Володи.

— Чего трогает? Кто?

— Дарья. Я говорю: нельзя, а она трогает.

— Вот прекрасное подтверждение Блоха о развращенности прислуги,—подумала Елизавета Ивановна. И, отогнав эту мысль, приступила к допросу.

Дарья получила расчет, Володе была прочитана лекция о папоротниках, о живчиках.

Вскоре появилась кухарка Варвара и словно с собой привела тараканов.

По вечерам на кухне чуть слышные шорохи, будто кто шепчет про себя молитву. Варвара подолгу не зажигает свет. Сидит неподвижно и слушает.

Глеб ловит тараканов горстью, садит в банки и открывает зверинец.

— Неужели же нуль, круглый нуль? Столько метаний, боля,—а вот подытожишь—и нуль?

— Нуль,—упрямо гнет голову Безубов.

— Ну, пусть нуль в нашем узде, а там?

— И там нуль.

— Нет. Вы меня путаете, путаете. Я понимаю, что эсеры неправы, но неправы и вы.

— Плеханов сказал, что не надо было братья за оружие.

— Надо было братья! Я не умею доказать—почему, но знаю, что надо.

— Вон Зоя бралась. Что-ж вы не позволили ей убить пристава?

— Не то. Да и говорю я не об Ирбите, о России.

— А Россия—Ирбит. Понимаете или нет?

— Нет, я верую...

— В Стригановку?

Стражники скачут проселочными дорогами. В об'езд миновали Тогры, хлюпают по раскисшей земле.

В тогринской школе кушает чай Флеров. Округло ломает хлеб, словно благославляет трапезу. Галя не сводит с него глаз. Подсдвигает сливки, просит пробовать маковые пирожки и слойки.

— Я увлекался Валентиной Филипповной,—говорит просветленно Флеров,—я и сейчас отдаю должное этому идейному человеку. И должен предупредить: в увлечении мы зашли довольно далеко.

— Далеко?—меняется в лице Галя.

— Да, далеко. И мы решили жениться. С точки зрения полового подбора (Галя потупила глаза) мы гармонировали друг с другом.

— А она мне врала...—заволновалась Галя, но не докончила фразы, прочитав в его глазах кроткий упрек.

— Разошлись мы в существенных пунктах. Именно—во взгляде на сроки. Кроме того, она хочет города, городской жизни, а я считаю, что деревне мы не должны изменять.

— Вы еще ватрушки не пробовали,—говорит Галя и тихо добавляет:— Вы с ней жили?

Флеров прислушивается к цоканью копыт, но цоканье копыт затихает. Кто-то прохлюпал мимо по раскисшей земле,—и снова земная тишина.

— Нет, физического сближения не произошло. Это позволяет мне считать себя в отношении ее свободным. Как человека, вы меня знаете. Я не курю, по убеждениям примыкаю к эсерам. Одним словом, Галина Михайловна, не согласитесь ли вы стать моей женой?

Галя моргает часто-часто, не может ничего понять. Потом опрокидывает стул и вот уже мнет его бороду розовой щекой.

— Шурочка Флеров! Да я же люблю вас!

Флеров поддерживает ее рукой. В другой руке у него закусанная шаньга. Он сбит с толку. Много еще не переговорено, есть еще вопросы. И как же быть с пунктами о темпераменте, о потомстве?

— Галя, подойдем ли мы друг к другу в смысле... в смысле полового аппетита?

— Циник!

И Галя шлепает нежно стригановского Христа и Дон-Кихота по губам.

Как-то так вышло, что без руководства старика Фореля Галя очутилась у Флероза на коленях и стала целовать его в нос, в бороду, в щеки, в глаза.

А он отбивался, прятал лицо и кричал, что она сумасшедшая, что он ни за что не женится на такой отчаянной.

Они не заметили учителя Агапова. Агапов отскочил от двери и пролепетал:

— Во-от как!

С минуту посмотрел на целующихся и пошел доложить жене о виденном. Жена, исхудалая женщина, с вылезшей ключицей и желтыми пятнами на лице,—признак беременности—выслушала недоверчиво:

— А ты, дурак, и поверил... Для виду целовались, тебя провести, а ушел ты—опять за свою политику.

Агапов подумал и возразил:

— Что, я слепой, не вижу, что целуются по-настоящему?

Стражники миновали бугор, проехали лесом, прошуршали по листве багровой, как гангрена. Их было семеро, низкорослых, с серыми кустиками редких усов. Шинели их намокли, топырились, неприятно холодили в коленях.

Старший щупал за пазухой бумагу: как бы не промок приказ.

В Стригановке спешились, натащили грязи на ногах в волостное правление.

— По всей деревне?—удивился писарек.

— Согласно приказа,—ответил старший и стал отжимать из полы шинели воду.

— Трудновато, братишки, целое село обыскать: не котомка. Попа забрать—это можно: нам хватит и одного. Учителку? Она, чать, в городе.

Искра от избы к избе. Пороховой шнур. Лапоть разбрызгал грязь. Брякнула щеколда. Огородами по рыхлым грядам к школе мальченка:

— Валентина Филипповна, тятка велел сказать, штоб убегли: солдаты забирать вас приехали...

Пока раскуривали стражники махру, спрыгнул набат с колокольни, перебежал улицу и выволоч бородатых мужиков.

Вывалила сторотая орава, сгрудились, нажали, дышат.

И кокарды у стражников стали махонькие, и махонькие сделались голоса.

— Так что, согласно приказа господина исправника, закон, мы не при чем.

— Где у вас тут староста?

— Между прочим, ваше благородие,—высунулся писарь,—зря вы это все.

И вот тогда толпа зарычала.

— Попа Ивана не дадим. Пуцай Геннадия.
 — Где Родион? Родиона-доносчика бить.
 — Да што на них глядеть? Прогоним, мужики,—и топор под лавку.
 — Тоже—с пуговицами! Сопляки...
 — Эй, ты, сабля, разуй глаза: в избе образа.
 — Харитоша, ты поближе стоишь: сыми их благородью шапочку.
 — Ганька, подсоби его благородью на лошадь взлезть.
 — Погоди, може, они лошадей пригнали безлошадным для раздачи.
 — Мда!
 — Уезжайте, воины, больше рыла не кажите, побьем. Гогочет Стригановка, лает. Простодушно щупает медаль на груди его благородья. Сморкаюся и твердят:
 — Лучше уезжай: от греха дальше.
 Конфузливо карабкаются стражники на запаренных коней.
 — При исполнении служебных обязанностей... Зря, зря делаете.
 — А што будет?
 И тесно, один к одному, лохматая, остробыченная Стригановка. И ежели никто не ударит, вот так и будут перешучиваться, матершинить и жмуриться.
 И круто поворачиваться тоже нельзя; быстро пойти, побежать—боже упаси.
 Тогда озверевает Стригановка и разорвет, втопчет в землю и будет разматывать кишки.
 Стражники понурой вереницей, озираясь опасливо, шагом подвигаются к околице. И сразу галопом, под хохот, улюлюканье толпы.

17.

Побег Валентины Филипповны организовала Зоя. Валентина Филипповна расцеловала Чердынцева, Елизавету Ивановну, Зою, не забыла вытаращить глаза и пробасить: «ребятишки—пышки—пышки» на прощанье.

В сумерки две тени проскользнули в ворота. Одна тень щупала мрачно рукоятку револьвера в кармане, другая—то и дело спотыкалась и поправляла пенсне.

Прошли мимо полицейского управления, вызываяще посмотри на постового. Дальше, мимо почты, мимо чайной, мимо скотобойни и двухэтажных публичных домов.

Шоссе, колеи дороги всегда выгивали у Валентины Филипповны желание куда-то ехать, к новым людям, к новым событиям.

— А хорошо все-таки!—прошептала она.
 Зоя плохо поняла ее и ответила:

— Уж я возьмусь, так организую. Вон и Виноградов едет, конечно. Помещик, но либерал, и очень любезный.

— Стой! Никзк Валентина Николаевна... то, бип-э, Филипповна, — закричал Виноградов, и кучер остановил тройку.

— Вот встречал! Что вы тут делаете?

— Мы гуляем.

— Хотите, прокачу в имение?

— Пожалуй.

Опасности не было никакой. Кучер был единственный свидетель разговора. Но разыграли сцену по всем правилам. Удивлялись случайной встрече, случайно согласилась прокатиться Валентина Филипповна. У Зои колотилось сердце, и говорила она неестественно громко.

Долго все трое разыгрывали сцену случайной встречи. Наконец, Валентина Филипповна уселась в тарантас. Лошади тронули. Зоя дала отъехать тройке подальше и выстрелила в воздух.

Вернулась. В приюте девочки шили наволочки и пели: «Ой, полна тюрьма пред думою: есть эсеры и эде».

Зоя прошла наверх, открыла потайную дверь, постояла перед опустелой койкой террориста. Вздохнула и пошла грязное белье считать. На завтра предстояла стирка.

Исправник топал ногами, гровился перепороть весь уезд. Земские начальники совещались. Городской голова раскладывал пасьянс.

А Чердынцев бегал по комнате, быстро-быстро бормотал:

— Каково. Какова закваска. Кончено, их усмирят, но усмиренье—революционное крещение. Нет лучших агитаторов против самодержавия, как стражники, тюремщики и палачи.

Слушал улицу. Метался, места не мог найти расхристанный ветер.

— Быть тем, с ними, со стригановскими внуками Емельяна Пугачева. Ненависть вычерпать ковшами, громить, обрывать провода, брать за городом город... Да здравствует бунтарская Стригановка! Будет это? Вырежет мужик жирные кварталы города, окровавит кирпич, из туши кирпичной вырвет державный ливер?

Чердынцев остановился у окна. Холод по лбу. Да. Забыл главное, все это слова, а главное: оповестить Елизавету Ивановну.

— Елизавета Ивановна! Лиза! Нет, ты не останавливайся в дверях: разговор-то будет долгий. Что такое? Пустичек, административные меры, не будем об этом говорить. Мы наплодили нищих. Лиза! Семья, Лиза,—это желудконабивная машина, на фарш провертывающая мозг, мышцы, нервы. Но мы сохранили хоть крошечку силы, чтобы не обрюзгнуть, не раскладывать пасьянс и хоть издали, издали, ненавидеть.

— В чем дело?—спросила Елизавета Иваковна и опустила на стул.

— Два факта: один отрядный, другой прискорбный. Беззубов говорил: не надо было браться за оружие. Впрочем, это Плеханов

говорил. А я кричу: да здравствует бунтарская Стригановка! Вот, как у вас, в обществе любителей драматического искусства: генеральная репетиция, а за нею—спектакль. Может быть, нас первых когда-нибудь пнут ногой—проститутки, скажут продававшие мозг имущим. А мы ответим: зато мы первые на репетиции говорили роли, по-любительски, с лишним пафосом, хрипя.

— Я ничего не понимаю. Что-нибудь случилось? Скажи, наконец, толком.

— В двадцать четыре часа за пределы губернии, со внесением в формулярный список. Вон и бумажка на столе,—сегодня инспектор передал. Это, говорит, еще милостиво, входя в семейное положение. Можете, говорит, на занятях не присутствовать, а вручение бумажки запишем на завтрашнее число. После завтра, говорит, и поедете. Угодно выбрать город?

Елизавета Ивановна ушла в спальню. Хотела плакать, но плакать было некогда. Присела к столу, на квадратике почтовой бумаги вывела: «Спешно за отъездом домашние вещи, мебель, кухонная утварь».

Заметила, что пропустила слово: «продается». Затем поняла, что об'явление бессмысленно: «двадцать четыре часа». Однако, наклеила на заплаканное окно. А после куда-то торопилась по улицам, пила воду из стакана у Зои и, всплакнув, торопилась, торопилась, надо успеть, роли не сданы в кружок, ислечь на дорогу, деньги.

Зоя привычной рукой графила подписной лист. Варвара вытряхивала из чемоданов мусор и починала дорожные ремни.

Чердынцев поедет вперед для приискания места. Елизавета Ивановна останется ликвидировать дела.

Первый покупатель зашел в этот же день. Спросил, не продается ли мраморный умывальник. У Чердынцевых мраморного умывальника не было.

Накрапывал дождь, но ветер разгонял столпившиеся тучи, когда казачий отряд ворвался в Стригановку.

Матвей починал хомут. Услышал гиканье и крики, выскочил в рубахе за ворота. Широкой деревенской улицей топала конная орда.

«Опять стражники»,—подумал Матвей и пошел в избу накинуть одежку.

Девка визгивая первая визгнула и упала. Казак полоснул нагайкой, целясь попасть по грудям.

Когда Матвей выбежал снова, увидел двух мужиков. Один бежал, закрывшись руками, и борода у него промокла в крови.

— Братцы!—кричал отец Иван, растрепав косичку по ветру.— Братцы, не поднимайте руки на отцов вещей!.. Братцы!..

Голос покрыл крик.

Матвей прыжком на дорогу.

— Будьте прокляты!

И когда кто-то сбросил запоздалый набат, Матвея все еще били.

— Не кричит, паршивец,—запыхавшись, один. И другой:

— Сыпни покруче!

Выбросилось пламя на задворках Родиона как-то сразу. Но в дневном свете, в изморози огонь был желтым, невеселым. И на него никто даже не посмотрел. Смотрели на сгрудившихся конных.

Там били Матвея. Потом, рассерженные, что он не кричал, рассекали тонкой плетью ситцевые кофты баб, захлестывали, перегнувшись с коня, меж ногами.

К волости отволокли Матвея, и фельдшерница хотела сделать переязку, но подняла рубаху, закричала и зачем-то побежала в сторону.

Черноусый бравый казак спешился, подошел к Матвею и сказал:

— Били, били, а морда все здоровая.—И ударил сапогом по лицу.

День совсем разгулялся. Проглянуло солнце. Ветер лег на землю, успокоенный, свалив космы туч в комок, словно колтун в лошадиной гриве.

Теперь пламя не виляло из стороны в сторону, а вытянулось к небу розовым кустом.

Отряд остановился постоем у отца Геннадия. Видно было через ограду, как бегают круглая попадьа от погреба к кухне, к бурливому котлу, в который скоро начнут прыгать хорошенькие пельмени.

„Семка промышленник“.

Рассказ *А. Бибука.*

Было начало весны, в оврагах дотаивал последний снег. Семка и лохматый Король лежали в хлеву линейного стержа и ждали. Заслышав повестку, встали. Семка намазал морденку навозом, переждал немного и пошел к станции,—дыржавой и мусорной, с сердитым милицейским. В хлеву было затишно, а от навоза и соседа—тепло; неохота было и выходить, да ничего не поделаешь.

К станции подошли вместе с поездом, длинным-предлинным, почти сплошь из красных вагонов, битком набитых людьми. Сидели на крышах, буферах,—зябкие, лохматые, тощие, больше—в солдатском.

В ближайшем окне стояла женщина с грустным лицом. Семка сделал рожу умирающего:

— Ма-минь-ка... род-на-я... брось хлебца кусочик.

Рядом стоял на трех ногах Король,—огромный, с отрезанными ушами,—и смотрел молча и неотрывно.

— Ма-минь-ка... брось хлеба кусочик...

Голова женщины скрылась из окна. Но скрипучий, однотонный голос долетал и в вагоне. Через минуту она показалась у окна и нервно бросила мелкую бумажку.

Семка нехотя поднял ее и перешел через два к третьему окну, у которого стоял пассажир с подстриженной бородкой и смотрел в пустые поля.

Здесь Семка применил способ Короля. Долго стояли они, уже ударило два звонка. Пассажир делал вид, что не замечает; скроется и опять выглянет. Казалось, мало-ли, кроме этого, окошек в псеезде? Пробежать бы поскорее из конца в конец! Но Семка знал секрет и стоял, стоял.

Пассажир таки не выдержал и с раздражением бросил кусок белого хлеба, который чуть не хапнул налету Король.

Раз, два, три,—торопливо, будто вспомнив что, ударил звонок. Заповздавшие пассажиры бросились к вагонам. Вдруг солдат остушился, выронил бутылку с молоком, и выбоина в цементе.

наполнилась белым. Разом, без всякого стовора, Король и Семка бросились к счастью.

Хорошо было Королю с длиннющим языком! Семка попробовал зачерпнуть пригоршней,—не вышло ничего. А Король лакал да лакал. Раздумывать было некогда, и Семка припал к белой лужице губами. Как вдруг Король ошетинился, зарычал и оскалил здоровенные клыки. Семка испугался, потом возмутился: вот так друг!

— Ах ты, чорт собачий!

Недолго думая, пнул ногою.

Король так кланднул клыками, что, попадись нога—пробил бы насквозь.

Семка от страха сомлел. И только хотел «отвалить» подальше, глядь—отец. Точно из-под земли! Лохматый, не хуже Короля, с одной рукой, а другую немцы отгрызли.

— А-а, змееныш... Вот игде ты промышляешь?!

Семка покосился на целую руку,—костлявую, в рыжих волосах,—ч-чорт, в нее должно быть перешла сила из другой руки... А поезд уже отбивал первые тяжкие шаги.

— Ну-ка, ходи, промышленник, побалакаем.

Точно железная клешня, тянется рука... Трах-тах!—ступают поезд. Голова закружилась, и в смертельной тоске сжались и сердце, и мозг, и щуплое, беспомощное тело. И вдруг—точно кто огрел плетью! Прыгнул в сторону и слепо бросился к поезду. Наскочил, было, на столб от навеса, юлой вкруг—и повис на поручне площадки вагона.

Трах-тах! Трах-тах!—все чаще, все гулче ступают железные ноги. Вот уже и станция осталась позади. А лохматый человек стоял на краю платформы и судорожно тискал кулак.

Король обстоительно долакал, облизнулся и неторопливо потюпал искать приятеля.

Сгоряча Семка влетел в уборную и заперся. Кто-то стучал и бубнил, он ничего не соображал, и только минут через пять убедился, что волосатая рука осталась где-то там, а он мчится в неведомсе, как в детстве, когда во сне приходилось падать в глубокие бездны. Было и радостно, и жутко, и до боли колотилось сердце.

Кто-то опять стучал и бранился. Пускай, не лопнет! Мало ли в поезде местов таких-то?! Но Король-то, Король! Оказался такой дрянью, хуже некуда. Ужо получит в ребра, стой! А еще лучше, чтоб ему паровоз еще одну лапу отхватил, пусть тогда, чорт мохнатый, безухий, ползает на брюхе. Мать, разве, жалко... Да и то! Сама же, бывало, во все лохмотья заглянет и прощупает, все отберет. Ну, да чего тут! Вот на ближайшей станции встанет и ладно, как-нибудь увидятся, тайком от отца, что ли...

Кондуктор повернул ключом и так неожиданно толкнул дверь, что Семка шлепнулся задом на мокрое,—сиденья не было.

— Клоп, каши тебе с маслом. Чего забрался?

— Да я, дядинька, чуточку.

— Чего чуточку? Билет есть? Ну, понятное дело, нету. На кой чорт он свободному гражданину?! Куда едешь-то?

Семка растерялся и молчал.

— Пас-са-жи-ир, чтоб тебя намочило. Ступай-ка в караулку, там поговорим.

Взял за шиворот и толкнул вперед. Тесно было в вагоне. Сидели и лежали не только на полках и лавках, но и на полу и в проходах. Приходилось обходить, перелазить через ноги, корзины. И когда кондуктор добрался до конца вагона, Семки не оказалось. Он вернулся и внимательно стал вглядываться в беспорядочные кучи людей и барахла, заглядывать под лавки. Как раз у той, под которой лежал Семка, поднялся и в недоумении спросил:

— Не видал ли кто мальченку?

— Какой из себя?

— Попрошайка.

— Рыжий? Блондин? Бритый?

— Не тот ли, что в смокинге?

Ехидные вопросы так быстро летели со всех сторон, что кондуктор не успевал перехватывать глазами. Рассердился, плюнул и ушел прочь, провожаемый смехом.

Семка лежал притаившись, как мокрая мышь.

Было тесно и душно, чей-то кованый башмак жестко торкался в зад. Гомонели.

— В Воронеже перехватить картошки... А то на Кубани белой...

— Ноне на Кубани вошь на аркане. Лучше уж на Украину.

— Можно и там, суть же в этом. Главное—добраться до Астрахани, на промысла.

— Керосин, что ли?

— Какой керосин, чужак? Рыба! Керосин—в Баку. а там отнедова ему взяться?

— А из той же Баки!

— Да на кой же ему керосином заниматься, Астрахани-то, когда там самое рыбное дело?

— Да ты что, был там?

— А уж не говорил бы зря.

— Хм... Ну, дак что?

— Прибудучи в Астрахань, сейчас муку по боку, набрать рыбешки: селедки там, воблы, ну, и балычка маненько, а то икорки черненькой для Москвы, это еще ладнее: и места мало и монетисто.

— Да, тут расчет нужно ниточкой...

— Как бы дорога-то мучицу всю не с'ела.

— А лущай ест! На худой конец—промысел. Отзвонил пугину—и опять же с рыбкою. Да пудика два соли.

— Хм... Далече, однако.

— Далече! А что теперь близко-то?

Семка с такой жадностью слушал разговор, что ему показалось, что последние слова произнес он сам.

За корочкой хлеба он ходил из деревни на станцию, за двенадцать верст. Да двенадцать обратно, да в мокреть, голыми полями. Так то—корочка, а то—и рыба и соли два пуда,—так чего тут далекого-то? Ног, что ли, жалко?

Он высунул голову из-под лавки и потрогал за кованный башмак.

— Дядь, а дядь?

К нему наклонилось рябоватое, сухоскулое лицо в солдатском ушане.

— Что пицишь?

— Возьми меня с собой!

— Куда?

— А в Баковут, где рыба.

— Баковут? Ха, ха! Да ты откуда?

— Смотри, не промисли там коробку под лавкою,—заметил другой, в ватной кофте.

— Мы этими делами не занимаемся,—обиделся Семка:—чай, знаю, где твое.

— Ага, понимаешь, значит, что мое—не твое, а твое—мсе?

— А то, думаешь, что?—ответил Семка, не разобравшись.

Захотали. Начали вертеть цыгарки. Чиркнули спичкой,—вонючая, сразу в горле запершило. На верхней полке кто-то тяжело закашлялся.

— Нашинская, товарищи!—отозвались снизу.—Пять минут вонь, а потом огонь.

— Дышать, братцы, нечем, вышли бы, что ли!

— Ну что ж, возьми и выйди на воздух, тебе полезно, а нам и тут хорошо.

Опять к Семке.

— Ну, козьявка, так куда же ты наладился-то?

— По рыбу, однако.

— Да ты бродяга, что ли? Где твои родители?

— Отца-матери нету,—запечалился Семка.—Мать умерши с голодухи, а отца умучили.

— Кто умучил?

Семка струсил: а что, как не угадает? Вдруг заметил две каски с большими красными звездами и твердо выговорил:

— Белые, черти...

Несколько пар глаз посмотрели в его сторону.

— А бабка голодная лежит,—привычно излагал Семка.—Да еще братенок махонький, все хлебца просит.

Сделал скорбную рожу, шморгнул носом и выжидательно замолчал.

Владелец кованных башмаков прищурился.

— Вот тебе и козьявка. В карман за словом не лазит...

Нащупал в мешке сухарь и дал ему.

С полки посыпался горошком добродушный смех.

— Ну, как, слышь, молоко-то, понравилось?

— Какое?—не поняли внизу.

— Это я козявке, про молоко. Я, ведь, уронил!

— Король похлебал,—ответил Семка.

— Это который Король? Кобель, что ли? Значит ты, выходит, принец! Ну-ну! Держи, принец!—солдат бросил большой кусок сахара.

Это было так неожиданно, что с минуту Семка колебался: брать или не брать.

— Бери, не бойся, чай не все люди короли, хе, хе...

Некоторое время Семка был весь в этом куске сахара. Ведь это же—целое богатство! Правда, сапог не выменяешь, на рубашку тоже не хватит. Но чувствуешь—есть, вот оно,—в руках. Да, не дрался бы, чорт однорукий, пососал бы сладенького. На хлеб—тоже не стоит менять... Вообще, придумать самое лучшее оказалось не так-то легко. Неважно, надумает! Пока—было просто приятно держать его в руках и гладить широкие, обтертые грани. Можно, пожалуй, лизнуть,—немножечко... даже заметно не будет.

Семка вздохнул: Эх, житье солдату! Все у него есть: одного сахару кусков десять! И никого не боится. То-то, показал бы он козявку! Пришел бы в деревню: мое почтение, товарищи!—Здравствуй, Сема Куделя!—А-а, Куделя?—Прас! Получай!..

— Ишь, ведь, куда засунулся!—воскликнул кондуктор, появившись течно дух.—Вылезай!

Семка юркнул, как мышь, и замер. Вступился солдат и бубнил сверху, кондуктор сыпался на декреты; потом солдат бунчал что-то пэд нос, а кондуктор зацепил Семку за ногу и выволок из-под ловки. Поезд подходил к станции.

— Мауш, чтобы и духом не пахло!

— Не бей, бить не полагается,—предостерег солдат.—Тоже—дикрет.

Да что толку? Все равно—выпроводил!

Очутившись на платформе, Семка по привычке стал перед окном, в которое смотрела какая-то женщина, и заскулил:

— Те-ти-нь-ка-а... ку-ша-ть хоч-ца...

Сказал раз и замолчал. Стало вдруг скучно-скучно. Кажется, помани кто куском сахара,—и то не заскулил бы.

Вышел пассажир в кованых башмаках.

— Дядя... слышь, куды на рыбу дорога?

— Ого! Взаправду, что ли, надумал?

— Рыбки хочца.

— А птичьего молока не хочешь?

— Не, селедочки бы.

— М-да, селедочки. Так она и тово... Хм... Да нет, козявка, не доедешь. Далече.

Ударили звонки, засуетились. Пръшел кондуктор, погрозил пальцем. Пассажир потянулся в вагон.

— Дядишка, родненький.

Крикнул паровоз,—строго и коротко, будто спрашивал: все ли по местам?

— Ступай сюда,—кивнул вдруг пассажир.

Семка прыгнул на площадку.

— Дерись на крышу! Не сорвешься—доедешь, паршивец.

Поднял как перышко, и посадил на крышу.

— Дерзай, козявка! Хе, хе...

* * *

Путина была в разгаре. Не успели управиться в воблой, пошла сельдь.

Мешал низовый ветер—моряна: задерживал сверху воду, затопил все, даже самые старые ерики, спрятал главное русло Волги, а рыбу, шедшую глубокими косьяками, тоже разбил, и пошла она вразброд, куда попало,—поди, перехватывай! Но и то в тоню изредка набивалось до тысячи пудов. Только принимай!

Вверху только-что вскрылись реки, и Волга катила их мутные воды, а на промысле «Боярская Россыпь» цвела акация и солнце жгло не на шутку.

Как только прокричал звонок, Семка наскоро плеснулся водой и вышел к промысловой конторе,—двухэтажному дому, окруженному деревьями, а вокруг—решеткою.

Не ылохо, видно, жилось тут когда-то! Мотор подавал воду в сад, в цветники и на огороды. Теперь мотор почти все время стоял в ремонте, и воду подавали старым чигирем, который вращал верблюду. Воды едва хватало на плоты. Часть деревьев была вырублена, другие сохли. На месте клумб—голые грядки с торчащим бурьяном, среди которого, как чудо, смотрит красный глазок одичавшей гвоздики. Решетка уцелела с одной стороны, с трех—торчат столбы.

Семка сидел под одним из столбиков и ждал. Собственно и ждать было нечего: с первого же дня управляющий и завком скавали, что мал возрастом и для работы не годится. Все-таки он аккуратно, раньше всех приходил к сборному месту и чего-то ждал.

Туман над рекою давно растаял и сквозь кусты ивняка видна была синеватая лента. Далеко где-то, не разберешь—внизу ли, вверх—хлопота паровод. Было затих, а потом зешумел совсем близко. Семка метнулся к берегу и увидел маленький буксир, похожий на опорок, тащивший три здоровенных баржи. Коротко и хрипло свистнул и пополз дальше. О берег, не спеша, хлопнулись волны.

Наконец, показались два желтомордых киргиза, плотник Ефим... с пяток девушек в белых масках до глаз и ярких юбках... вот еще двое, строчат какую-то частушку,—никто, как Дунька и Степка!

На душе у Семки сразу стало веселее.

— Идут! Идут!—произнес он вслух, и стал считать: три... восемь, десять... Насчитав до тридцати, сбился и бросил.

Сбоку, наперерез девкам, вынырнула ватага парней, и поднялся визг. Киргизы скалили белые зубы. Иван Сергеич, заведующий, не выдержал:

— Да что вы ползете, как дохлые? Успеете амуриться-то!

— Аль завидно?—срезала разбитная Дунька.

— Было б чему! Рыба вон пухнет, а вы чорту обедню правите.

— А ты с каких праведником стал?

— Седни Машка не пришла, так он в монастырь уходит; хо-хо-хо...

— Ну, ну, потише!—обиделся заведующий.—Знай, с кем разговариваешь!

— Сам-то потише!—неприязненно ответил длинновязый, угреватый парень, с вывороченными губами.—Это тебе не старый порядок!

— Так ты свои заводить будешь?

— Я как, вообще, за рабочую праву стою.

— А вот, скажу завкому, раз'яснит тебе праву! Лодырь!

Парень расхохотался.

— Нашел чем пугать! Да я сам скоро в завкомы пролезу; вот что! А ты-ка, вот, подавай сапоги да бахилы-то!

Иван Сергеич чуть не подпрыгнул.

— Какие сапоги? Какие бахилы?

— Которы полагающи рабочему.

— Тебе, что ли, бахилы-то? На плоту танцовать будешь в них?

— А хоть бы и мне, танцовать,—како твое дело?

— Так ты уж заодно проси и для верблюда!

Девушки расхохотались, и это несколько успокоило Ивана Сергеича.

— Каждый день ты мне с каверзой! Почти час проваландались. Ступай, товарищи, по-вчерашнему, что ли.

Когда рабочие медленно и неохотно побрели на свои места; он схватил себя за голову:

— Господи, да когда же это все образуется?!

Семка позевал и от нечего делать поплелся за долговязым Двойкиным. Придя на плоты, Двойкин сел на край и заболтал ногами. Поймал за ногу проходившего мимо парня, вынул цыгарку. Взял в руки, повертел и бросил. Заметив, что одна из девушек, наклонясь, завязывает чувак, он проворно встал, подкрался к ней и, подняв юбку, звонко шлепнул. Тут же, под хохот, получил в спину тумака.

Довольный, вернулся, позевал и полусонно стал смотреть, как в прорези шевелилась рыба. Часть ее давно уже уснула и сверкала на солнце белым брюхом. Вдруг, среди темных спинок сельди, скользнула гибкая, с шипами. Бесцветные глазки Двойкина сживились. Заметив Семку, пальцем подозвал и показал на прорезь.

— Видишь, ситренок? А может стерлядка, еще лучше. Полезай!

Семка услужливо спустился в прорезь. Хотел-было достать рукою—не дотянулся, а черпаком только вспугнул, и рыба ушла на низ.

Двойкин прыгнул на прорезь—с плота аршина три—и так шлепнул Семку, что тот скувыркнулся было к рыбам.

Схватив черпак, Двойкин с ожесточением принялся черпать рыбу со дна посуды. Рыба мялась, сыпалась за борт,—это его не занимало. Вспотел, тяжело дышал и, точно в припадке безумия, бормотал несуразную ругань. Наконец, змеиное тело извилось в сетке! Двойкин душил рыбу за жабры и от радости ржал.

— Говорил, не уйдешь! Ха-ха-ха! От Двойкина, брат, трудно уйтить, голубушка! А-а, чорт, так ты еще колешься!—мгновенно озверел и со всего маху ударил рыбу об дерево.—Бери!—приказал Семке.—Или, нет, надери-ка с судаков жиру—будем жарить.

Нож был при Семке. Поймав рыбину фунтов десяти, он вспорол ей брюхо и бережно вынул две полоски жиру. Остальное бросил за борт,—рыба пошла ко дну, а вода окрасилась кровью.

— Еще таких же пару,—сказал Двойкин.

Семка поймал вторую рыбину. И вдруг ему стало и обидно и жалко, что такая большущая рыба пропадает зря; он бросил рыбу обратно и кошкой выбрался на плот.

— Куда пошел? Куда, так перетак...

Семка уходил прочь.

Подошел заведующий.

— Ты что же, горлохват, еще и не начинал?

Двойкин насупился.

— Один, что ли, буду махать-то?!

— А где же другие?

— А чорт их душу! Дрыхнут за бочками!

Неожиданно ударил звонок.

— Во, завтракать, а ты с работою лезешь. Мало вас было, кровопивцев, на нашу на рабочую шею!

Иван Сергееч долго смотрел ему вслед и кивал седеющей головою.

— Вот она, зренья точка!

Звонок разбудил от сонной одури, промысел на минуту ожил. Несколько рабочих выбрали в прорезях жирных лещей и швыряли на плот, где их тотчас же подбирали другие и тащили к ка-

зармам, среди которых была обширная, хорошо оборудованная столовая.

Глуховатый плотник волочил хвостом по земле пудового сазана.

— Ребята!—возмутился Иван Сергееч.—Ужли вам мало по три фунта рыбы на день? Куда тащишь рыбку-то, голова твоя сазанья? Ведь выбросишь, не слопаешь!

— Небожь, не лпну! Жалко, что ли?

— Да как же не жалко?!

— Жарко не будет. Не твое ведь!

— Не мое, так государственное!

— Казну, что ли, жалко?

— Теперь казенного нет,— есть народное!

— А ежели народное, так и не суйся. Али мы не народ, по-твоему?

Из толпы полыхнули по-матери.

— Ладно, ладно... доберутся... вправят мозги-то... дай срок...

Обнявшись, вихляя бедрами, Дунька и Сешка орала, точно пьяные:

Что случилось с миленком,
Ко мне долго не бывал.
Его щечки побледнели,
Знать ц леленок захворал...

Если видишь, что болеет,
Не садись на лодочку,
По а сама не проверишь
Милго походочку...

Дунька завопила вдруг дико, разнузданно и побежала в воду. Сешка посмотрела и бросилась за нею, вереща и баламутя воду подолом.

Иван Сергееч плюнул и пошел в контору.

— Н-ну, и зрения точка...

Семка заглянул в выход,—вроде длинного погреба, крытого землей и камышем. Два ряда бочек, пудов по тысячи каждая, врыты в землю; по бокам—галлерей, за решетками—лед. Прохладно, благодать, если ненадолго. Только вот на ноге оказалась царापина и соленый тузлук больно ущипнул. Семка живо убрался прочь, пополоскал медные, шершавые ноги и полез на вышку, на краю промысла.

Четыре удвоенных мачты, связанных тремя площадками и узкой лестницей. Когда-то отсюда наблюдали за движением пароходов и предупреждали тоню, чтоб не было разрыва сетей. Дерево подгнило и от легкого ветерка вышку заметно шатало—точно живая была. Зато на верхней площадке—как на колокольне! Внизу красные и серо-желтые крыши промысла, башня—чигирь, кучи деревьев. Перед плотами несколько посудин. Рядом с промыслом штук шесть киргизских хибиток,—похоже, сошлись

какие-то верзицы, поставили шапки на землю, как попало, а сами бредят в степи. Очень подмывало Семку заглянуть под эти шапки: что и по-каковски? Да больно злые собаки там. Пасется кобыла с лошонком и две хулущие козы. Лакают, будто, кобылье молоко. Да им что, косоглазым!

Хорошо же лежать и покачиваться от ветерка, будто в воздухе летаешь. И страшновато, и голова кружится, особенно, когда помотришь на плывущие куда-то облака—так и кажется, что выпшка падает; и дремотно... Не будь разных забот, вроде нищи, кажется, ни за что не слез бы отсюда.

Ведь, во-он куда ушла Волга-то! Блеснет серпом или лоханью и спрячется в камышах да за желтыми буграми. Недалече—другая Волга, да ериков—не пересчитать. Дед Софрон, что на садках, рассказывал, что везде-то набивается рыбы, видимо-невидимо, особенно мальков разных. А потом вода уходит, гниет, и рыба дохнет. Эко добра-то пропадает! Небось, в Касьяновке все бы до ума довели! Лужа была, и то всю ведрами вычерпали, десятка два карасей с мизинец поймали.

Недалече и Каспий-море. Туда если смотреть—прямо пустыня, возле реки да ериков только и зелени. Далеко-далеко стелется дымок пархода. А в другой стороне, сверху, видна белая церковь,—жирно, слышно, живут рыбаки: икра черная, пироги пшеничные, бабы жирные. Им приказ: сдавай рыбу! А они—нуль внимания. Вот из-за поворота, обходя ярко-желтую отмель, выползает парход, сам не больше блохи, а тащит—сколько? Раз... два... четыре... шесть... да еще, вон, сколько посуды! Этак же муравей: захватит червяка, а то—жука в сто раз больше себя и прет.

С двух концов, значит. Скоро встретятся. А там только что наладили тоню, значит, который-нибудь напорется. Покричать разве? Далече, не услышат. Встал и помахал картузом без козырька. Ну, да плевать... Очень кому нужно! Лег опять и стал ждать встречи двух караванов.

Невод перепоясал реку от берега до берега, и его черные поплавки—точно бусы. Середина выгибается, круче все, круче, как огромная дуга. Один конец почти неподвижен, а другой медленно сближается; тяжелая лодка тянет его на другой берег, где стоит ворот, в роде чудного паука. Конец веревки приняли с берега; трое калмычат, в бахилах до пупа, побрели в воде, закрепили к тощему туловищу паука и стали его крутить. Теперь невод был похож на сплюснутое кольцо. Туго, по змеиному, обвивается веревка, слышно, как поскрипывают лапы паука, концы которых водят косоглазые. Ну—вся, крыло у берега. Паука бросают вертеть, лезут в воду, и передний принимает крыло. С лодки спускается на подмогу столько же. У каждого через плечо бечевка с узлом. Коротким ловким движением лучит петлю за верхний канат невода, дергается вперед, наклоняется весь, и голова сразу же наливается кровью. Размеренным рывком, дружно дергают

тяжелый невод и издают низкие, заглушенные стоны, похожие на курлыканье не то водяных, невиданных птиц, не то огромных, зубастых жаб. Шагов через пять передний смолкает, выпростывает конец лямки, идет в воду и снова лучит петлю,—теперь он последний. Рванул, налился кровью и в лад закурлыкал. Выпростанный край принимает подошедшая лодка. Кольцо меньше, все меньше. В стеклящихся глазках невода показались первые слитки серебра,—на них не обращают внимания. Вдруг—могучий всплеск, и вода забурлила по ту сторону кольца, даже с вышки видно.

— Выскочила! Должно быть белуга, а то сазан,—думает Семка.—Дед говорит, что сазан—самый умнеющий, недаром голова с мозгами.

— А правда ли,—думает дальше Семка,—что ежели слопать сазанью голову—никогда не уедешь отсюда? Враки, поди... А может и правда, кто его знает...

Кольцо—сажен в десяток посередине, и что только там делается! Кругом кольца—вода как стекло, а в середине—настоящий кипень. Сверкают, трепыхаются на солнце куски серебра и падают в кипень. Неужели же все это—рыба? Сколько же? Должно—близко тысячи. Ха, чего—тысячи! Видал он бумажки-то тысячные,—не больно-то корысти в них! Тут, брат,—мешки тысячей! Дед говорил, что если рыба идет по-настоящему, можно весло поставить и оно не упадет,—вроде ложки в густой каше.

Семка глубоко вздохнул.

Вот и караваны, почти одновременно. Ну, да теперь опоздали, проваливай. А воблы-то, воблы на посудинах! Веревки не держат, прогибаются! Хорошо же, однако, моряком быть! Ни страхов тебе, ни голода... Эх, черти, мотню то вот и заслонили. Вона, засуетились косоглазые. Облепили со всех сторон, галдеж подняли, точно вороны. А на них—волна, бежит, бежит... ага, ничего, покачивает их! Ишь, берег лижет, будто голодная.

Во, стоп машина! Рыбу из тони переливают в лодку. Кувыркается, трепыхается в черпаках, и сверкает молниями, смотреть даже больно. Агрмаднице. Разочек бы так... Чего это там ищут! Нацелится косоглазый клепнями—хват! Ага, чебаков таскают! Ну, и черти же! Красной рыбы почти не трогают, а весь лучший, жирнеющий чебак—крышка! В огрызок сети, на плечо и—айда в пустыню. Вон, потащили! Целых трое, аж до земли припадают.

Чем плохо жить? Принесет кучу рыбы, ешь не переешь; в кибитке баба ублажает всячески, валяйся, как свинья... Не хуже, пожалуй, и матроса. Что вода студеная—поди, привыкнешь. Кобыла? А плевать! Вместо кобылы достал корову и дуй молоко. Молоко да со сливками, как бывало когда-то дома... А то ладно и простоквашу. Эх-хе-е... сволота, все-таки, Король! Изменник!

Семка густо плюнул и, перегнув голову, посмотрел, как плевок летел вниз. Захотелось кушать, но не было охоты сле-

зять. Повернувшись на другой бок, оглянул промысел и прищурился на вешала, где вялилась вобла. Отсюда, сверху, вешала похожи были на огородные грядки серыми рядами. И господи-Никола, сколько этой рыбы! И гноят-то ее, и в реку валяют,—вонэ, плывет брюхом кверху, должно быть с Благодатного спустили. Чаек-то, чаек сколько!.. Эх, вот еще чайкой хорошо быть! Чего лучше? Лети, куда хочешь! О пище—тоже не думай.

Вот еще—орел. Малюсенький-малюсенький, как ласточка, висит в воздухе и крыльями не машет, просто чудно, как он держится. А над ним другая, еще выше! И тоже пишет круг, а крылья не дрогнут. Не то, что ворона! Сидит, жабина, на старой лодке, пасть раскрыла. Ну, и напейся! Воды тебе мало, холера черная!

Стрелой мелькнула ласточка—так близко, чуть не коснулась крылышком.—Чи-ввик!—вон уже где, должно быть за мухою гонится. Поймать бы, да привязать к лапке записочку: снеси, мол, домой, к матери. Тому-то, однорукому, нечего, а этой вручи, по секрету. Пускай бы узнала, все-таки, где сейчас Семка. Небось, заплакала бы... баба... Ага, а то, небось, все дырки обшаривала... еще, брат, наплачешься, погоди!

У Семки навернулись слезы обиды.

Скучно, все-таки, здесь! Все чужие... Да и пустыня и река громадина, так вот и потеряешься тут... Эх, елки, березки! Взять бы с вешалов десятка два воблы, да переслать матери. Ведь у них-то, в Касьяновке, соли года два в глаза не видать! Это дело бы. Да чего, орлу, разве, прицепишь за хвост?

Семка хмыкнул,—так забавно и горько показалось. А потом захотелось плакать, благо тут никто, кроме ласточки; не увидит. Да и ласточке-то не до него: хлопочет для птенчиков.

Позавтракали. Звонки еще когда был, а они только-только выползают. А рыбу-то в прорезях так и не начинали. Рабочники! Солнце скоро уж над головою станет. Печет—только держись. Одну, пожалуй, успеют, а другая прорезь—пищи пропало. Ведь вон же стоит, прямо под солнцем, ненакрытая!

Слабоват Иван Сергеич! А что ж, когда воли ему нет! Ну, и замком тоже: важничает, что индюк, кричит: пролета-ря-ат. А сам дрыхнет, словно боров...

Разве выкупаться?

Обезьяной спустился с вышки и пошел на чигирь.

Вот где рай! Деревянная шестигранная башня со шпилем в конце длинного псмоста на сваях, на воде. Неслышной поступью, по слегка унавоженному настилу, ходят кругом верблюды: высоченный, с горбом на боку и с завязанными глазами. Медленно вращается веретено с колесом наверху, а там еще веретено, с колесом же; колесо с колесом, а на другом конце, за перегородкой, еще колесо, через которое свесился в воду самый чигирь,—цепь, а на ней железные ковпы, точно мошисто. Один за другим, неустанно, поднимаются ковпы кверху, льют воду на жолоб и, опрокинутые, сползают назад и на короткую минуту

погружаются в воду. А капли воды—сотни, тысячи капель—с хрустальным звоном сыпятся вниз, и дышет оттуда прохладой.

Смуглая, крепкая женщина изредка понуждает верблюда протом. Сорочка спозвзла с круглых плеч, казалось—дремала.

Семка покосился на белые колени и отчего-то смутился.

— Ты чего?—негромко окликнула женщина.

— Так... купаться думаю.

— Правда?

— Правда.

Замолчали. Сквозь полузакрытые ресницы смотрела загадочная, жадная сонь.

Семка глазами колыхавшуюся грудь, косился на ноги... Чего глаза—и сам не знал... не знал, отчего краснеет, а сердце мрет... сладко-сладко...

Неслышно ступал верблюд, и звенела вода.

— Ступай ты... купаться...—через силу, с досадой скавала.

Семка стоял замороженный.

Пройдя круг, верблюд остановился и вдруг пронзительно, яростно закричал и харкнул над головой.

На смерть испуганный, Семка выкатился из чигиря.

Как-то чудно смеялась женщина,—будто во сне.

* * *

Жарило так, что по твердой земле босому нельзя ступать. Даже девок неслышно было. А дед лежал под тулупом, скрючившись от холода, только клочок копченной бороды торчал.

Избушка на садковой барже прокалилась насквозь, и от обрывков канатов и сетей душно пахло просмоленной коноплей. Перепел лежал в клетке, раскрывши зев и распластав крылья.

— Не надо ли чего?—спросил Семка.

Дед кашлянул, чтобы показать, что слышит, но ничего не скавал. Дышал с хрипом, точно старый мех.

Семка сел на обрубок, на котором дед чинивал сети и вял челнок с ниткою. Попробовал сделать петлю, вышло неладно, пожалуй, заметит старый и ворчать станет. Положил на место и тихонько вышел. Под домиком—скамейка, тут любимое место деда. Немало тут послунался про белугу, величину с трех коров, про сома, утянувшего верблюда, про разумного сазна и водяного, который может, если захочет, и рыбу разогнать и мережки порвать и вообще наделать всякой пакости тому, кто с ним не в ладах. Скучно без деда!

Садки стоят пустые, ползают в них жабы. Положим, есть еще сомята. Раз дед послал его с черпалкой поймать, так сом так ему дал по нзгам! Живо выскочил! Ежели тихо, да присмотреться, можно увидеть широкую, губастую головизну, вроде самого водяного. А в ту, вон, посудину, будто напускали осетров, они метали икру, а потом росли осетрята. Подростут—на волю.

Посудины стоят на заводи—течения почти нет. Все заросло камышом, лозняком и кугою. Выплыла утка с утятами. Учит зады показывать. Вдруг—кряк!—и в траву. Увидала, стервоза! Эх, кабы ружье!

Занятно было еще глазеть на свое отражение в водяном зеркале. Оно под солнцем чуть коробилось,—так просто: надо не надо,—и рожа под нечесаной куделью то расплзалась, будто ее растягивали за уши, то удлинялась; забавнее—когда расплзалась и лопоушилась масляницей. Будто оттуда кто дразнится. Очень-то не разберешь, хорошо видны только глаза—два синих василька, как у матери.

И вдруг оглушительно: чавп! чавп!—и щучье хайло сожрало всю голову.

Будь ты нелална, окаянная! Даже отшатнулся от неожиданности, и сердце захолонуло.

В сверкающих брызгах воды блеснул серебром себелек,—водяная ласточка. Ведь вот, за каким махоньким гоняется, паскуда!

Еще раз чавкнуло.—где-то там, в збадамученной пучине, и затихло. Словала, прорва!

Семка схватил старый поплавок из коры и швырнул в щуку.

— Ух, ты, ненасытная!

Через минуту—будто лизнул кто-то рваное место,—вода опять застеклилась, и только круги расходились все шире и медленнее к камышам.

К борту, покрытому склизкою тиной, снова собиралась меляга,—мешки тысячей! Показался широколобый щеголь—головель, посмотрел, пожевал, о чем-то раздумывая, губами, мотнул махалкой—прощайте! В воде опрокинутое небо и зеленая рама берега с желтой отмелью, и кажется, что воды нет. А то кажется, будто воды—и дна не достать, и сколько в ней разных загадок и чудаш—жутко подумать! Семка даже попробовал борт, не сломался бы сразу.

В редкой водяной поросли плеснуло. Осторожно, как кошка, Семка продвигается на нос и всматривается. И вдруг, видит широкую и длинную полосу, которая сливается с цветом воды. Голова—страшенная, с двумя буркалами. Почти упирается в илистый берег. Шевельнула хвостом и блеснула золотом,—сазан! сазан!—загудело во всем теле. На карачках, с заявнившимся духом Семка вползает к деду и широкими глазами кричат:

— Дедка, сазан у берега! Накажи бог, как свинья огромдющий!

Дед приоткрыл белый, будто из кости, влажный лоб.

— У берега, большой?

— Огромдющий! Вставай!

Дед почавкал губами.

— Не трожь... умирать собирается.

— Да живей! Махалкой шевелит!

— Пуцай помирает. Не трожь.

И в самом деле: стоял, стоял сазанище и давай валиться на бок. Поправился, и опять—на бок; а потом, точно пробка, желтым брюхом кверху. Заработал хвостом и плавниками, аж вода замутилась; поправился, да не надолго. Перевернулся еще раз, да так и остался. Видно было, как тяжело дышит жабрами. Каюк!.. И все-то дед знает! Уж и в самом деле, не водится ли с водяным?

А еще сказал, что будет холера,—неприменно, говорит, будет. Убегал бы, говорит, домой.

Легко деду сказать—домой! А как выбраться-то?

* * *

Холера таки пришла. Говорили—водою, сверху. Почти каждый день на промысле заболел один—два человека. Кто выздоравливал, а кто сматывал удочки,—половина на половину. Снизу проходили пароходы битком-набитые рабочими с промыслов,—повалило и там. Стало совсем скучно и тревожно, как перед войной. Девки перестали петь похабщину.

А тут еще путина кончилась! Селедка сразу пропала, точно отрезало; пошла чехонь, сазан, пестрый товар, пудов пять—десять на заход, не стоило и снасти мочить. Положим, попадалась еще селедка, тощая, претошая. Это которая уже побывала под Казанью и скатывалась обратно. Грош ей цена!

Рабочим заявлен был расчет, кухня закрылась, пайки прекратились. В ожидании парохода все расположились на плоту со всем тряпичатым барахлом и мешками заработанной рыбы. Не ахти сколько было той рыбы, и ее берегли. Таскали; сколько удавалось, с вешалов, и ловили на удочку мелюзгу. Бабы подавали мух и кузнечиков, а мужики удили. Натаскает с десятков—уха, без картошки и перца, какая вышла,—не то, что на промысловой кухне. И уж вот как с'едалась: каждая косточка была обсосана!

Семка вспоминал, как были разборчивы, сколько зря портили рыбы, вынимая жир да икру. Только носом пошмэргивал. Шелуха, кости и всякие остатки бросались тут же, и вскоре весь табор сидел по щиколотку в вонючей грязи. Воду дули прямо из Волги.

— Сознательность, клещня вам в нос!—бунчал Иван Сергеич.

Да что с этого бунчанья, когда его и в путину не очень-то боялись!

У Двойкина сперли мешок с воблой. Чудно даже, что именно у него! Наругавшись досыта, он прохватил дыру в амбаре и натаскал заново пуда три, да променял на ситец, да Семке дал с пуд и взял его себе за сторожа.

Наконец-то дождались парохода! Еще бы неделя и—пропадай пропадом.

Кто поплыл на Казань, до Нижнего, а кто пересел на поезд. С Семкой вышли было разговоры: не хотели пускать ни в вагон; ни на крышу. Вступился Двойкин.

— Как так? Его отец пролетарят, погибши от холеры, а сыну рабочего человека проехать нельзя даже на крыше? Из-за чего мы свою пот-кровь проливали? На кой же ляд революцию происходили? Рыбы сколь наготовили!

Напористый парень, отстоял. И когда Семка взгромоздился на жаркую крышу с пудом воблы и рукавом от кофты, набитым солью, ему ничего больше не хотелось от жизни.

По дороге, на остановках, попрошайничал, или просто менял рыбу на хлеб. Высчитывал, сколько дозвезет, не наедается досыта. Вдруг обнаружил, что покровитель тоже бережет свою рыбу и пожирает его. Открытие было тем страшнее, что он боялся даже сказать что-нибудь Двойкину. А спрятать было некуда: на крыше—как на ладони. Ясно было, что домой приедет с пустыми руками. Случилось, однако, нечто неожиданное.

Поезд катился голой степью, солончаками. Еще в Астрахани были разговоры о каких-то крючниках, будто бы стаскивающих с буферов муку—и что попадет. А случалось, что калмыцкая пуля ссаживала и самих пассажиров. Положим, пассажира и его мешок так трудно было отделить: зацепивши мешок, можно было стащить и его хозяина.

Однако, проскочили не одну уже сотню верст и все пока было благополучно. Двойкин уверял, что все это—болтовня.

— Знаем, кто распускает эту брехню:—белогвардейцы! Не могут они, окаянные души, видеть, как пролетарят идет вперед, направляется.

Была все та же голая степь. Низко стояло багровое солнце. Становилось прохладнее, заволакивалось синею дымкою. Из-за песчаных бугров показались два всадника в войлочных шляпах. Еще два. Лошади неторопливо бежали вдоль полотна. Вагон за вагоном обгоняли их. На крышах поднялась тревога.

— Стацили! Мешок стацили!—крикнул кто-то.

Двойкин высунулся на край, чтобы посмотреть, и вдруг что-то мелькнуло в воздухе, точно растопыренная пятерня вилась в его стеганку и через мгновение он кувыркнулся в воздухе.

С десяток других пассажиров судорожно уцепились в мешки и припали к крышам. Семка тоже притаился и от страха даже глаза закрыл. А когда открыл их, было по-прежнему: багровело солнце, и поезд мчался, как угорелый; только не было Двойкина. От быстрого бега его большой мешок раскатывало по крыше и Семка стал его придерживать; другой мешок, с солью, лежал спокойно.

Медленно проходил испуг.

— Как же ты теперь, без отца-то?—спросил сосед.

— Не знаю,—неопределенно ответил Семка.

— Далече ли ехать?

— До Касьянки.

— Да... вот оно, дело-то какое. Ка-ак это оно его, будто лапищей!.. Ух, дьявол, чуть сердце не треснуло.

— Ты, паренек, посматривай,—посоветовал другой.—Отец вернется, нет ли, а семью-то кормить нужно. Береги, мол, товар-от.

— Да вот, сунется,—пожаловался Семка.

— А так и скажи.

Сосед охотно передвинул мешок к середине.

Семка привалился к мешку, сощурил глаза и чуть не взвизгнул от радости. Да ведь вобла-то, соль—теперь и в самом деле его! Он, выходит, законный наследник! Хотел вскочить, развязать, перещупать каждую рыбину, порадоваться вслух. А кто-то другой в нем делал скорбную рожу, тер глаза и шморгал носом.

— Ты не убивайся, паренек,—утешал сосед.—Такая уж теперь жизнь наша. Не жизнь, а жистянка. Думай о семье... о семье думай. Теперь ведь ты кормилец, понял?

Семка заскулил, было, но скоро надоело. Добро бы, человек был как следует, ну, хоть бы вроде деда, а то—воблу его же таскал! Повернулся на бок, и стал смотреть в степь.

На станции была беготня, разговоры, телефонировали, расспрашивали, жалели Семку. Собрали ему три куска сахара, краюху сухого хлеба и с десяток зеленых бумажек.

У Семки начались новые расчеты, от которых даже кружилась голова. Однако, на следующей станции о случае в дороге почти не говорили, а на него никто не обращал внимания.

— Не упредили, что ли,—думал разочарованно Семка и махнул рукою:—Ладно, живет и так!

Спасибо еще, что при пересадке на другой поезд помогли перетащиться.

Не раз в пути к нему приставали,—то кондуктор, то контролеры. Его выручали очевидцы.

— Отца убили, на наших глазах. Все бумаги у погибшего. Сам тоже рабочий, едет с промыслов.

И Семку оставляли в покое. Ну,—скоро уж и Касьянка! На душе стало неспокойно. Влетит!—предвкушал кто-то. Еще посмотрим!—отвечал другой.—Три пуда соли, четыре—воблы—не кот начхал!

Вдруг:

— Касьянка, две минуты!

От слов отнимаются ноги. Мешков и с места не сдвинуть. Видит—по платформе бродит безухий пес.

— Король, собачье мясо!

Король уныло задрал голову.

Вдруг Семка увидел мужика из Касьянки.

— Дядя! а дядя Филипп! Помоги, за ради Христа!

— Да, никак Семка?—позумился мужик.—Ну, и влетит же тебе, оглашенный!

— За что?

— А за то самое! Где же ты, хорек этакий, пропадал? Искали, искали...

— Некогда разговаривать-то. Слышь—звонят! Помогай, рыбой попотчую.

Дюжий Филипп стащил багаж на землю.

— Да ты что, с Америки катишь? Неужто все твое?

Семка самодовольно ухмыльнулся.

— А то чье же?

— Ну-ну... в сам-деле, подвести, что ли?

— Не хочешь—другого найдем.

Рослый Филипп глянул на него сверху, хлопнул себя по ляжкам и расхохотался.

— Ну, и чудеса, парень! Значит—домой?

— Домой.

— К отцу?

Семка подумал и сказал:

— Слушай, дядя Филипп. Ежели он, да посмеет пальцем тронуть—вертай обратно! Понял?

— А очень просто.

— Обратно и—никаких. Пуцай сам промышляет!

— Правильно,—согласился Филипп, подбирая вожжи.

— Я люблю по правде,—совсем по-мужиковски добавил Семка, взбираясь на воз.

Увидев опять Короля, он вытащил целую рыбину и бросил ему.

— На, бесстыжая харя! Семка не такой, брат.

А. БИБИК.

Лобуда.

Рассказ *Бориса Губер.*

I.

Никто не верил, что Ваське всего семнадцать лет. Был он широкий и длинный, курить начал со второго класса корпуса (от этого говорил баском), а брился не менее раза в неделю. А то и два.

Насчет девок промышлял он искусно и успешно. Хвастался, что именно про него сложили и цоют на посиделках:

Эх ты Вася, ты Васёк,
Мое сердце ты засёк,
Ты засёк и порубил,
А сам другую полюбил.

— хотя песенке этой,

— век. Про другое же, обидное:

Коммунская Лобуда
Валется у пруда,
Пусть себе валется,
Никто в ней не нуждается!

— молчит.

Но все знают про кого сложила это Катька Ворошадкина (в отместку, конечно, в отместку... за что?). И прозвали Ваську—Лобудой.

Россия, революция и совхоз Кривякино. Над землей, над Россией, над совхозом тихо плывет осень. Будет за нею зима, новый начинается год: есть ли счет годам впереди? А сейчас хлопотно, по-осеннему пестро. Вечерами холодно и темно. Васька—рабочий. Корпуса он не кончил, — какой там корпус! Корпус, имение в Рязанской губернии и... Впрочем зачем перечислять? Все это сгинуло, все это разом — к чорту!.. И —

... будни: в восемь наряд, звонок, к звонку загоня собираются рабочие. Заведующий совхозом, Васькин отец, из предводителя уездного ставший попросту агрономом Мареевым, с трудом представляя больные ноги, приходит к наряду... Крик, гам, споры... Потом запрягают, в последний раз закуривают, начинают день

чтобы кончить его перед сумерками. Вечером Федор Андреевич Мареев будет играть в преферанс—ради этого придут к нему: счетовод Горлинин и Курносов, бывший лакей княжеский, — теперь председатель Рабочкома... Может быть придет и Кольцов; но Кольцов — секретарь ячейки, научился кривить свои резиновые губы так презрительно, что... Лучше бы он не приходил! Ваську от преферанса, от копилки вонючей и бесконечного вечера — тошнит. И он уходит, — на репетицию, или с ребятами в деревню...

По праздникам Васька спит до-поздна. Федор Андреевич встает гораздо раньше его, долго моет каучуковую свою челюсть, потом, в ожидании чая, раскладывает пасьянс. Неприбранные комнаты глядят уныло, сиротливо—чувствуется отсутствие женщины. За окном, у колодца, конюх Степан наливает водой колоду. Колесо, играя тырками, ходко вертится, пока бадня идет вниз, потом движения его становятся все медленнее, Степан трудно перебирает руками и бадня вылезает из сруба. Степанова жена, Марья, вертится подле, суетится, все старается помочь.

— Иди домой, — гонит ее Степан, — иди тебе говорят!

Не уходит Марья! Суется туда-сюда, только кашляет в ответ...

— Уйдешь ты? Уйдешь?!

Марья, в кашле сгибаясь пополам, бормочет:

— Вбт собака... Руль-нос окаянный...

— Убью! Уб-бью, стерва, — вопит Степан, то замахиваясь кулаками, то хватаясь за колесо,—с-сука чахоточная...

А рваные тучи, низко спускаясь к земле, уползают за парк...

Просыпаясь, Васька зевает, громко, как верблюд. После чая садится он с отцом за шахматы... Скучно.

II.

Порванным переливаясь ожерельем, посылая земле прощальное свое курлыканье, протянулись пустеющим небом последние журавлиные стада. Следом за ними закрылась прозрачная синева сырыми лохмотьями туч.

Дождевые капли некрупными были — как щуплое крестьянское зерно. Усадьба выглядела убого. Неприметными в траве озерками подернулся двор. Раскисшая дорога всхлипывала под ногами лошадей. Черные стволы лип и кленов осклизли, непрерывно роняли лист — падали листья, под дождем, тяжело, будто камушки...

Молотили.

Ровно гудел барабан; молотилка дрожала от напряжения, жадно жрала сноп за снопом; шипели и такали ремни. Задавал кузнец Егор Тимофеевич — радовался он гуду и грохоту, вскидывая опыленной бородой (будто клок паутины борода):

— Давай, давай!

Бабы, на ходу сморкаясь, вытирая потные лица о собственные плечи, подтаскивали к столу снопы, разрезали тугой пояс, торопились. Показывал руки колос. От громадины маховика, наполовину врытого в землю, веял ветерок. Староста Василий Петров, которого рабочие зовут Карнаухим, переходил с места на место — от снопов к веялке (тара-тара-та, тара-тара-та — веялка) потом к приводу. Потные лошади, натуживаясь, ходили по кругу, а Сецька бил их осиновой хворостинной.

Староста довольно помалкивал — и сказать ничего нельзя: хорошо работают! Всех прибрала к рукам машина, — от нее не отстанешь.

— Ишь, Карнаухий-то рад, — орала Танька, — ему хорошо — руки в брюки!

Звонкий у ней голос, — но пропадала звонкость в молотильном шуме, трясется пыльный кузов, мелькают шкивы, тянется, хлопает приводный ремень... И, вдруг, — трак!.. Лошади с натуги пошли рысцей, гул барабана отмирал, лаялся в гроб и крест подавальщик — кузнец Егор Тимофеевич: лопнул ремень приводный: нахлопался! Карнаухий ковырял шилом, возился с сыромятными сшивками, чинил. Рабочие радостно сели отдыхать.

Веялка тоже смолкла. Перед ней, на латанном брезенте, поднимался высокий ворох. Девки стайкой слетелись к нему: недозрелое, мягкое зерно пахло пылью, хрустело на зубах песочком, — но что могло быть вкуснее его? Руку — по локоть в ворох; горсть — в рот... И жуй, жуй... Хо-ро-шо! Карнаухий долго посматривал искоса, наконец не выдержал:

— Подержи-ка, Егор Тимофеевич, концы...

— Пошли, пошли, — гнал он от веялки, — нечего тут...

Тимоша, выпустив из кулака зерно, поддакивал:

— Удивительное дело! И чего они яё лопают? Пашаницу — тую есть можна, она не влияет. А от ржи может произойти раздутие живота...

Девки смеялись, с сожалением оглядывались назад, уходя. Танька ткнула Тимошку кулаком:

— Эй, живот дутый, смотри не провоняй здесь всех!

На омете тоже отдыхали. От дождя попрятались в солому — зарылись глубоко. Очень уютно было лежать так, согреваясь, чувствуя, как сладостно ноют усталые руки и спины... Покуривали, — кто над горсточкой, кто над фуражкой. Дождь одевал омет ровным, сыпучим шорохом.

От риги снова нарастал шум. Гусев поднял голову:

— Везут! Давай, вылазь...

III.

Кривякинская усадьба полегла на пригорке. Внизу Волга — хитрой извивается полосой, тихонько ползет к далекому морю. Лицом к ней тяжко опирается на облупленные колонны большой,

двукрылый дом, который посейчас называется *Зимним*,—в отличие от другого—*Летнего*. Из окон второго этажа кроме Волги, берегов, поросших ивняком, и уемистых понизу лугов—видны обширные дали Заволжья: желтополосая строевая роща, кусты по вырубкам, мелкоплатанные крестьянские поля; ниже—мрачный заповедник Топорок зазубренной полосой; вдали—высокий шпич церковной колокольни.

Когда-то, давно-давно—сто или десять лет тому назад?—словом, до революции, принадлежало Кривякино князю Матвею Матвеевичу. Седой и ворчливый этот старик во всем любил аккуратность, прочность и основательность. И все в Кривякине заведено плотно, накрепко, навек,—толсты непомерно кирпичные стены служб, крыши тщательно окрашены, поля огорожены живыми еловыми изгородями...

Умер Матвей Матвейч—был он октябристом и не пережил Октября; сыновья—кто в остроге уездном, кто в Бутырках, кто в бегах; жена, старушка, слезами напоенная, как губка, еле успев запрятать под каракулевый салопик шкатулку с камнями,—уехала в Москву или, быть может, дальше, чтоб камни цветные проесть, слезы иными высушить заботами, а, оставшись без слез и шкатулки, помереть. Дни тоже помирают один за другим: убегают дни непоседливым овечьим стадом... А Кривякино стоит себе, опирается на колонны облупленные, таращится с пригорка на бегущих проселками дезертиров: живет. Надолго заквашено Кривякино: совхоз.

Зимний дом заколочен, на дверях висят печати Центромузея. В летнем почти пусто—мебель разобрали по рукам рабочие. Оба дома выходят задом на двор—двор со всех сторон обнят парком. И на фоне древесной густоты особенно белыми кажутся стены.

Скотный двор, молочная, флигель для доярок и скотников—отдельно, рядом с гумном и огородом. Итти туда нужно через парк, вдоль пруда и оранжереи. Эта далекая часть усадьбы называется «той дворней», хотя на собрании, давно уже, постановили перекрестить ее в Красную Слободку: прилипчиво старое имя.

IV.

Тропинка на «ту дворню» начиналась у каретника. Васька не видел ее,—шел по привычке—вправо—влево... Вот тут береза... У пруда шумели и перешептывались жасминовые кусты. От темноты кусты стали черными—не верилось, что веснами рождаются на них такие ослепительно-белые цветы.

Дойка еще не началась. После вечерней уборки было чисто. Уютно и свежо выглядела только-что постеленная солома. Увязанные рядами коровы, одинаково бурые в полумраке швицы, подошли одна на другую. Им уже задавали на ночь прикормку: известно, какое в октябре пастбище! По двору шел ровный хруст—хрупко хрустела клеверная отава.

У ворот судачили бабы. Авдотья, надевшая грязный хропарь*), с подойником на локте, рассказывала Гусихе про мужа, только-что пришедшего из плена.

— Ярю, и не узнала его, Варварушка, не узнала, какое! Такой, родимая моя, пухла-ай, да толстый-то, да усатый! Ярю, Николай, да ты ли это? Он смеется, как же, ярю...

Варвара поджимала губы и покачивала головой...

В углу, подле маленьких телячьих закутков, на большой куче сена сидели девки.

Девки вразброд сыпали разговорами и хохотали. Коровы громко жевали, позванивали цепями. Коптячие лампочки под потолком скупо оделяли красным светом. Кучка ждущих росла. Заволжинский сторож Трофим тяжело опирался на костылик и вздыхал.

Танька, будто ханжи хлебнула,—даже платочка не оправив,—рассыпалась хохотом, шутками—дурила. Приставала к Трофиму: дергала его за башлык и кричала:

— Да неужто, дедко, ты еще жив?

Старик тревожно мигал и наставлял полумертвое ухо:

— А?

— Мохом, говорю, от тебя воняет, помирать пора.

Ничего не слышал старик, торопливо кивал головой, бормотал:

— И я... и я, доченька, такой же был... Я молодой был вясельный, ух! А?

Повязанный спереди фартуком пришел мастер Мартын Иванович, поставил на стол фонарик, раскрыл книгу. Складной и ласковый его фоксик Мерзавец чуть слышно тьякал, прыгал и шевелил ушами. Началась дойка. Молоко твердыми проволоками струй затренькало о донья; потом треньканье перешло в шип—запенилась в подойниках нежная пена. Мартын Иванович записывал в книгу удои, небрежно поглядывал на молокомер и, милостиво улыбаясь, разговаривал со столяром Ермилом.

— Вот был я у грахини Паниной в поместье... Ах! До чего там красота! Такая повсюду красота, как в загранице. Дом—дворец... Лестницы, и то мраморные... А паркет каждое утро щетками трут. Аж скользко!

— Паркеты лучшие из дуба,—торопливо вставляет Ермила:—или еще, скажем, дерево бук... Из него паркеты прочнее будут.

Но Мартына Ивановича не покроешь! Он молча пускает сквозь усы шершавый кусок дыма и шурится:

— Па-адумаешь, из бука паркет. Разве он для этого пригодный?.. Что бук... Вот бам-бук—это да!

*) Хропарь—фартук с рукавами, который надевается на время дойки.

Большой оцинкованный ушат наполнился до краев. Мастер начал раздачу,—фунтовой мерочкой разливал душистое, парное молоко. С мерочки, проливаясь, уворились по полу белые лужицы—подлизывал их Мерзавец: подлизывал, вилял обрубок, тьякал.

Танька подхватила Бидончик, ушла,—не оглядываясь. Васька еле дождался своей очереди и пустился догонять ее бегом.

— После ужина выйдешь?

Молчанье. Танька шагает, быстро переставляет босые ноги, клонит голову вниз... И шопот становится от этого еще суше:

— Выходи к звонку.

V.

С наряда Федор Андреевич пошел в контору... Горлинин вписывал в книгу ордера—начиная заглавную букву долго вертел в воздухе пером, метился, потом накручивал завитки и буквы плелись аккуратными строчками. Кольцов, вытянув под стол ноги, забавлялся—перебирал костяшки на счетах и гримасничал. С Мареевым он поздоровался, не меняя позы (гримасу скорчил снисходительную), и, когда тот подсел к столу, сказал лениво:

— Мне сегодня в Лягушино ехать нужно... Какую лошадь запрягать?

Федор Андреевич досадливо крикнул:

— Зачем вам?

— Для ячейки паек получать. Селедки и масло подсолнечное.

— На работе все лошади,—о чем вы вчера думали?

— Как на работе? Раз'ездные есть,—Белогубчик, Гроза, Ханша...

Федор Андреевич промолчал, придвинул к себе чернильницу, вынул из очешника пенснэ.

— Так не дадите, значит?—Кольцов подобрал ноги.—Хо-рошо-с. Посмотрим.

Горлинин испуганно моргнул, с'ежился. Мареев криво улыбнулся:

— Если так, конечно... Берите Ханшу.

Дверь робко пискнула. Вошел конский пастух Клим, за ним скорченная от старости баба в коричневом сарафане. Клим мял в руке шапку, почесывался.

— Чего тебе?

— Как-жи... Что же теперя на выкидку, меня, тоись? Я что, ничего, для всякой работы сгожусь!—Клим потянул носом, уронил шапку и, кряхтя, нагнулся за ней.—Василий Петров говорит, староста, иди, грит, домой, к старухи, а старуха—вон она, Фекла-то... Куды мы пойдём, ежели некуда итти-то?..

Федор Андреевич отвернулся к стене—на стене в раме широкой портрет: Матвей Матвейч,—борода, как заступ, крепко

лежит над жилетом; на стене шкафчик для бумаг—красками блеклыми девушка с кувшином—румяная, золотоволосая... Федор Андреевич вздохнул.

— Да ведь ты стар уже, какая для тебя работа...

Шмыгнул носом Клим:

— Куды хошь сгожусь! Мы привышные... Што жа я дворянин какой, што ли...

Фекла, потирая глаза углом головного платка, тоже подошла поближе.

— Уж ты, родимый, пожалей, сделай такую милость—куда нам итить, кады родные дети гонют... Ливонтий-то, женившись... ты, грит, мамонька, для мене ни к чему, иди ты, грит, с богом... И постельнику не дал, по-матерно мне, не твой, грит, постельник... Как не мой? А он, ярю, по-матерно, я, грит, тебе дух вон...

Хихикал Горлинин. Федор Андреевич в удивленную гармонику собрал лоб. И только было вошла Фекла в раж,—хотела рассказать про постельник подробно,—

— как, грохотом, топом и криком заполнился маленький перед конторой коридорик, треснула, вигнула, охнула дверь и...

— Кого? Чего? Ханшу? А... не хошь? А... не хошь?

Степан багровел, сетью малиновых жилок перекрываясь, тряс бородой, исходил криком. Гнулись латаные порты в коленках, сизый, горбатый руль прыгал из стороны в сторону: вот, вот сорвется с места, забегает по комнате, как крыса... Кольцов сконфуженно выглядывал через него—остановился на пороге.

— Не да-а-м! Не дам Ханши!—орал Степан, сгибая портки, синяя и выпучивая крохотные свои глаза.—Если ты управитель—сам должен понимать... Са-ам!.. Ханша вчера со станции пришла, а ты так твою... Не управитель, а сволочь... сволочь!

Федор Андреевич Степана всегда побаивался—полоумный какой-то Степан этот... Но тут—крик, топ, дворянин какой, што ли, посмотрим, сволочь—захлестнуло его злобой, стянулась злоба петлей... И, наливаясь кровью, сронив с носа пенсне, мелко трясясь, кулаки сжимая, загремел так, что испугано закрестилась Фекла и шмыгнул за дверь Клим...

— Ма-а-ал-ча-ать! Я тебя...—И захлебнулся.

Крика не выдержав, выскочила искусственная челюсть... Федор Андреевич торопливо вставил ее на место, но не опомнился:

— В суд на тебя!

Степан (молчать!) удивился, двумя стекляшками остановил глаза, даже рот раскрыл... Но не надолго: тыкая перед собой кукиш с испачканным в деготь пальцем, завизжал совсем по-бабьи:

— На-ка! На-ка! Вот тебе, сволочь, суд... Вот тебе,—на!

VI.

У самой кручи,—уходит вниз обрыв—длинная скамья. Внизу широкое разлужье, ивняк, закраины, Волга.

Звездами перемигивалась морозная высь. На площадке перед скамьей Маня Курносова учила девок танцевать вальс. Ротан перебирал небрежно лады, грубая гармошка, от широкой пустоты вечера, становилась нежной, зовущей, и «Невозвратное время» из-под корявых пальцев текло, как слезы.

Повзякивая колокольчиком, грохоча по кочкам, протрусила мимо ямская пара. На другом берегу затлеялся огонек—у Трофима—заволжского сторожа. Девки прилежно возили ногами по земле—шаркали подошвы, вертелись кацавейки, юбки. Манька подсчитывала—раз-два-три!

Васька задумался—от звезд, от медных звуков, ставших волотыми, от ласковой полутьмы—становилось грустно. Он прятал руки в карманы и покачивал головою в такт. Рядом с ним сидела Нюшка-Цыганка. Глаза ее казались еще больше—две округлые, бездонные ямы.

— Давай, Нюш, ей-богу легко,—звала Маня,—научишься...

Нюшка не отвечала, зажав коленями кисти рук, сидела, немного согнувшись, ждала.

— Ой, барышни, голова кружится!

Грушка совсем замоталась—смеясь, села прямо на землю. Ротан оборвал вальс, полез в карман за кисетом. Закат остыл, последние розовые оттенки расплылись, поблекли—лиловела тьма. Из тьмы черным пятном всплыл Федька.

И, когда ходором запрыгала кадриль, он незаметно отошел в сторону. Нюшка молчала. Оба растаяли в мраке. Позади летнего дома вышли в парк. Заговорил половичек под ногами. Пахло смертью... Где-то, на скамье неширокой, присели. Из гуци сучьев и стволов паялился красный глаз месяца. А глаза Нюшки чернели ямами без дна: валился Федька в яму, сладко падал все глубже,—упал.

VII.

Гусев, довольно улыбаясь, показывал распряленный на двух древках плакат. Кривые желтые буквы теснились, плотно наваливались друг на дружку, на кумаче нехватало им места,—слова перебегали из строчки в строчку:

Да здравствует пролетариат
всего мира! С. Х. фер.
«Кривякино».

Кузнец разглядывал буквы, читал, шевеля губами. У него на щеке вздувался громадный чирий. Лицо морщилось от боли—Егор Тимофеевич придирился:

— Перенос неправильный сделан.

Гусев не слушал, плотно сжимал в руке древко. Тимоша в новых сапогах, в ватном пиджаке рассказывал девкам:

— А посла шествия будет для всех бесплатный обед со свиной и чай с ландрином. Аратары с городу приехали... Ей-богу, сам вчера видел....

Девки, принаряженные, с бантиками на жакетах, с круто завитыми челками из-под платков, держались вместе и хихикали (как девки вместе сойдутся—хихикать и пересмеиваться начнут обязательно).

Степочка сидел на завалинке и, задирая ногу, осматривал сапог.

— Отвалится каблук... Не дойти мне до Лягушина! Нет, не дойти.

Подходили все новые и новые, здоровались, курили, горлачили. С той дворни торопился мастер Мартын Иваныч—на бекеше его алел громадный бант.

— Пора, товарищи, итти,—закричал он еще издали,—а не то опоздаем.

Впереди него бежал Мерзавец—гавкал, крутился кубарем, потом погнался за петухом... Толпа колыхнулась, сдвинулась. Гусев поднял плакат. Многоцветной, неторопливой струей вылилась за шлагбаум.

Шли стороной от кочковатой дороги. Волга блестела, искрилась, закраины казались матовыми. Заволжье уходило в далекие синие дали. Ясный день, нежаркое солнце, отстающая усадьба—незаметными были, неинтересными: впереди Лягушино, праздник, бесплатный обед. Мартын Иванович уговаривал Таньку запеть «Смело, товарищи»:

— Да что ты, боишься, что-ли?

— Слов не знаю...

— Да я тебе подскажу!

С пеньем не сладилось. Жидкий хор запутался и смолк. Мартын Иванович махнул рукой, отстал. В хвосте плелся Богачев, морщился, охал:

— Хотел я его дегтем помазать, а Федор говорит нехорошо. Для праздника... Деготь здорово помогает—всю дрянь на-раз вытянет.

Дорога врезалась в лес. Бархатные березовые стволы ласково пестрили мрачный ельник. Безлистые сучья, пронизанные солнцем, вздымались легко, как дым. Дятел, поматывая красным пятнышком, — чорт его знает где это пятнышко — не то на голове, не то на хвосте, — короткими рывками взлетел на сухую сосну.

VIII.

Степан запрягал тройку. Белогубчик нетерпеливо перебирал ногами, подковы били по половицам. Марья с подоткнутой юбкой, —из-под юбки голые, коричневые бабьи колени,—держала Ханшу. Затягивая шлёвки на постромках, Степан ворчал:

— Черти... Еще князя назывались.... Хоть бы один тарантас хороший был.... Да сто-о-й ты, сволота кобылья!

В лошадиных гривах вились ленточки, цветы—как для свадьбы. Блестящие спины и крупы казались облитыми маслом. Ребя-

тишки, ожидая когда Степан кончит, набились в тарантас, седми, держались за что придется. Плетеный кузовок поскрипывал под ними.

Подбирая жесткую тесьму вожжей, Степан влез на козлы. Кольхнулись чуть слышно бубенцы. Марья отбежала в сторону, закашлялась...

— Н-ну, держись, Никита Николаич...

Стукнули копыта. Загрохотали поперек половиц колеса, медный, разноголосый вызвон бубенчиков брызнул весело и ярко. Тарантас прокатил по двору, махнул через мостик, перед конторой — стал. Первым залез в него Кольцов, потом Федор Андреевич и Курносов. Долго рассаживались, уминали сено. Тронулись. Ребята поглядели вслед, вздохнули и побежали к амбару играть в чижика... Тройка шла резво.

— Эх вы... Цапайся!—приговаривал Степан и нахлестывал Грозу,—все играла-б, да играла,—бежать мочи нет?

IX.

Площадь у церкви, улица, слободка—все наполнилось до отказа, набухло, двигалось, говорило. Пожарный сарай поднялся островом. Ребятишки, сидя верхом на церковной ограде, видели и слышали все без исключения.

Вокруг наскоро сколоченной трибуны (ящик,—на ящике перильца) стояла цепь—штыки и простые мужицкие лица. Милиционер, верхом на лохматом меринке, оправлял красную перья и, тыкая мордой коня в людскую толщу, вскрикивал:

— Товарищи, не напирайте ради бога!

Председатель волисполкома Слепцов радостно поблескивал стеклами очков, говорил двум уездным человекам (один в шинели, с бородой, с лохматыми патлами из-под картуза, другой—кожаный, бритый, холодный):

— Наша волость самая передовая... Народу-то! Народу привалило... Все!

Холодный, кожаный посмотрел на браслетку:

— Начнемте, товарищ, двенадцатый час...

Слепцов, надрываясь, фальцетом выкрикивая каждое слово отдельно, открыл митинг.

...— Наша мужитская ривалюция, мужитская и рабочая! Которых буржуев не доби́ли—добьем... Где ваши помещики? Где таковые барины-кровопийцы? Ни одного не осталось! На всей советской тиритории! И не будет во веки веков... Но не надо забывать про тех, которые еще остались враги. И это те кулаки, с которыми нужно бороться... Что обозначается лозунг—гражданская война в деревню? Это обозначается борьба с кулацким элементом. Товарищи...

Осенью, к полудню, небо белесое—темнеет, становится голубым, похожим на летнее—кувыркались в нем, трепетали, взмы-

вали вверх и падали камнем белые и чистые; как снежинки, голуби. Слова тугие—тоже взмывали, тоже падали—били по головам. И толпа затихала, смотрела, слушала. Мудрые, мужичьи морщины стали глубокими бороздами, пропадали под руном бород.

Кривякинские стояли вместе. Их прижало к церковной ограде. Возможно, что они разошлись бы поодиночке, кто куда. Но Мартын Иванович, уходя к Исполкому, предупредил:

— Не расходись, граждане,—сичас талончики на обед принесу... Чтобы в первую очередь нас отпустили.

Ушел он давно, а все не возвращался. Совхозцы так и остались подле ограды (ребятишки верхом). Железные, раскрашенные ангелы торчали на каждом углу—трубили в желтые охряные трубы. Речи доходили неразборчивыми обрывками—их почти не слышали, разговаривали, переглядывались со Свердловскими мужиками рядом.

— Не идет мастер-то...—беспокоился Тимоша,—затеряет еще талончики эти самые.

— Не затеряет,—успокаивал Гусев,—не пугай ты людей понапрасну... Обжора!

— Гляди, гляди—наши!

— Где?

— Вон, вон, коло почты...—Матрешка показывала пальцем на мокрую тройку, что с трудом продиралась в густом человеческом месиве. Степан привстал на облучке, окликал кучерским своим «берегись», лошади мотали головами.

— Ишь раскатывают!

— Не могут как люди.

— Мы пешком прись, а они с колокольчиками...

Тройка уже затерялась, завернула в сторону, пропала. А возбуждение росло. Но тут через ограду перелез мастер—размахивая пачкой белых бумажек.

— Получай, братва!

Расхватали билетки—на каждом синел оттиск печати с гербом посредине—разглядывали синий молот, скрещенный с серпом.

Кувыркались, плавали, крыльями трекотали белые ловкие птицы. Синели, темнели выси. День перевалил за половину... С трибуны высоко залетело зычное:

— Да здравствует!...

Ответом где-то в толпе заплелась песня. Прыгали путанные голоса, слова сбивались. Проступило рёвом:

И н т е р н а ц и о н а - а л о - о - м ...

А железные, неживые ангелы, на столбах стоя, тщетно трубили в желтые трубы—никто ничего не слышал.

Х.

Чайную брали с драки. Падали, цеплялись за соседей, поднимались и карабкались, обезумев, вперед, вверх—на крыльцо.

Внутри набилось до неподвижности. Столы ёрзали над напором, счастливицы, достигшие скамей, сидели тесно запрессованные, судорожно цеплялись за край стола. Гвалтом давились снаружи, молча—внутри. Всем было жарко и потно.

Заведующий чайной влез на стол—в одной рубашке с розовым горошком, с гнедым лоскутком бороды, вырос под самый потолок:

— Товарищи, которые в проходе—выйдите! Товарищи, которые в проходе... Иначе обед не состоится.

С крыльца посыпались один за другим. Стало просторней. Щелкнул засов. В дверь стучали кулаками и бранью:

— Скоро там?

— Скоро, скоро!..

Суетливые малые, враспояску, с потными, багрово скользкими лицами разносили чашки с супом, хлеб, ложки. Старичек, с седой стружкой волос вместо бороды, снял картуз, вытер лысину (из бурого воска лысина та) рукавом и перекрестился.

— Крестится!—вылезло из прохода,—старик-старик, а вперед молодых суспел.

Старикашка оглянулся, заулыбался розовыми деснами:

— Как-жа, как-жа... Я штарик хитрай—ребятки камипара слушают, а я тут как тут—жагодя...

Еще раз вытер лысину, взялся за ложку:

— Вше равно как в Мошкве на трамваи, право шлово!—он выудил из чашки кусок сала,—я в Мошкву жа шитцами ежду...

— А ты сало не таскай,—буркнул парень в овчинке—гляди за порядком!...

— Што-ж ты, шынок, оговориваишь... Шяло... Швинянки вшем попробовать хотца.

Над столами нависал пар. Все хлебали торопливо. Пахло как в бане, когда там моются одновременно многие, очень грязные люди.

XI.

Горлинин сидел над книгой: закрывал счета. Был в книге лист, на котором искудрявленный заголовок возвещал:

Счет чашек чугунных.

Чашка числилась всего одна. В какие-нибудь стародавние времена была она, может быть, и нужной. Сейчас-же валялась в амбаре подле бочки из-под цемента, рядом с кучей сырого мела—никто не нуждался в ней. Но бухгалтерия—вещь тонкая, точная... И второй год, приближаясь к концу месяца, Горлинин подводил по линейке черточку—выводил сальдо:

Чашек чугунных—1

Он даже ни разу не задумался: сможет-ли чашка эта когда-нибудь израсходоваться?

Шелестели листы. Перо накручивало хитрые завитки, вкрапывало в красные графы жирные цифры. На дворе таяло—звонкая капель слышалась сквозь двойные рамы.

Дробно раскатился обеденный звонок. Мимо протрусил Тимоша с бочкой (баня сегодня). Горлинин сложил книги, прикрыл чернильницу медной крышкой и совсем было собрался итти домой—обедать, но в окне мелькнула гнедая морда, потом несколько человеческих голов и плечей, взвизгнули полозья и сани остановились.

Первым вошел Слепцов. Обил голицей валенки, протер платком стекла. Кудлатый секретарь положил на стол папку и затопал ногами. После всех проковылял Кольцов—на его расстроенном лице сквозил страх, ноги как будто стали короче... От бывлой важности не осталось и следа. Нет у Кольцова ни важности, ни... ничего нет: только испуг и красные прыщи:

— Мобилизуют меня, Аркадий Васильевич.... На фронт. Партийная мобилизация...

Дрожали и бегали губы. Горлинин не ответил—тщательно прикрыл за собой дверь... В углу образок маленький, незаметный—к образку в смятении:—

— Господи, господи, что же это и за что?

Курносов поддакивал:

— Конечно—для усиления армии, как говорится.

В зале необжитом гулко. За неровно проломленной стеной, в темноте—подмостки.

Секретарь развернул папку, выложил на маленький подзеркальный столик толстую кипку бумаг. Рабочие сходились непривычно тихо, усаживались на скамьи: недоумелые, тревожные. Каждый в страхе воровал тяжелый жернов: *мобилизация*.

Шумукались бабы. Степочка. Степочке, что?—рад он что вместо работы—собрание, ясно, лучше посидеть, послушать, с Манькой Курносовской перегляднуться, чем пилой туда-сюда шмыгать.... он тихохонько шептал:

— Марусь, ты ролю свою переписала?

— Как же, переписала!.. Перепишешь тут, когда Настька покою не дает.

В задах тихонько голосила Варвара.

— Пётру, то мово, Пётру угонют незнамо куда... Говорила ему, проклятому—не записывайся, чорт! И на кого детей-то оставит малых, сердешные вы мои...

Грязной кучкой ввалились скотницы. Тимоша загоготал:

— Дырявая команда заявилась!

Было очень тихо и напряженно. Слепцов говорил, взмахивал рукой, маятником покачивался над столом, наклонялся--каждый раз стучал по столу тяжелый борт пиджака: в кармане-то синеватый вороненый—семь пудь, насечка 1916 г., деревянная, коричневая щечка: ноган.

— ... и для того, чтобы разбить эти золотопогонные банды, эти банды, которые разграбят советский юг... и восток, товарищи! Понятно?.. Каждый из вас, товарищи, сознает, что таковые...

Тук, тук! Рука вверх, вниз. В зеркале куцый зеленый пиджак и рука, в очках,—зеркало и то, что в зеркале, за очками моргают близорукие глаза... Секретарь поигрывал карандашиком, почесывал карандашиком в голове. Рабочие смотрели, не отрываясь, ворочали то тяжелое слово-жернов.

— ...из числа вашей ячейки—товарищи Гусев и Кольцов. Но это не так и недостаточно... Что такое ваш совхоз? Это есть коммуна. И все вы являетесь таковыми беспартийными коммунарами, каковые должны выделить из своей среды еще мобилизованных товарищей. Понятно? Постановление волкома, чтобы из вашей коммуны еще два... Предлагаю таковым товарищам записаться добровольно...

Всклинула Варвара... Кольцов встал; дребезжал неподмозанный голос:

— Не желаю я... не желаю.

И опять тишина—друг на друга—искоса. Молчат... На бок склоняя голову, поскрипывая сапогами, прошел через зал Карнаухий.

— Записываться товарищ?—Секретарь взял карандаш на-изготовку.

— Н-нет,—попытился староста,—я только что б раз'яснить—раз мобилизация партийная, а рабочие здесь беспартийные... И совхоз это особо. Какая же коммуна? Никакой коммуны нету. Все мы попросту рабочие...

— Лишаю вас'слова,—Слепцов оскалился,—что за агитация?

— Да я раз'яснить....

— Лишаю слова! Садись!

— Тише, тише! (Залился колокольчик). К порядку... По случаю что добровольцев нет, вношу предложение выставлять принудительные кандидатуры... Кто против? Нету. Прошу назначить фамилии.

Сразу,—будто мешок с горохом прорвался—грохот, крик, стон.

— Молодых выбирать.

— Федьку Богачева!

— Василия Мареева...

— Не имеют никакого права...

— Курносова предлагаю.

— Я семейный, нет такого декрету, чтоб семейных.

— Ти-и-ше-е!

Записывал секретарь. Мотал медной чашечкой Слепцов—и не помогала чашечка ничуть... Шевеля серой газетной кожей, сунул Слепцов руку в карман. Шершавая щечка привычно щекотнула ладонь, привычно и удобно вложилась в руку вороненая тяжесть—вороненая штучка боцнула сухо, резко и больно: Так!

С потолка посыпалась известка—лучиками разошлись от ранки трещины. Грохотнула упавшая скамья. Пестрое и быстрое рванулось было по сторонам, к двери,—отхлынуло, колокольчик проступил ярче. И все смолкло. Только по табачному дыму пристегнулся другой—белый, острый, ноганочный. Секретарь читал список—фамилия за фамилией, бесконечно,—все мужчины совхоза,—даже Клим, пастух отставной с кривыми ногами.

Хныкал перепуганный Степочка:

— Как же миня, если я несовершеннолетний...

И другие хныкали, клячили, просили. Ротан деловито отве-сил губу:

— Меня нельзя: я после Рождества жениться буду.

Федька встал, тупясь, двинулся вперед. Паркетные клетки были похожи одна на другую—с желтых клеток по витым ножкам повел, и уже бумага, протокол, черный сатин рубашки секретарской и продолговатое лицо в веснушках...

— Пиши меня. Я пойду...

Егор Тимофеевич видел. Только хмыкнул—под бородой шевельнулся кадык—повернулся к Степану:

— Вот он сынок-то! И кричать не надо.

Степан моргнул:

— Ах, мать его пастух целовал... И до чего парень дурак... И кто его за язык потянул? Хм!..

В старой голове—всякое; подтолкнул какой-то суетливый бес: ох, мать его за язык! Согнулись платаные порты. Марья заперхала... Руль послушно повел Степан куда нужно:

— Желаю добровольцем!

А там в темной камерке, заставленной сундуками и корзинами, бабушка, перепуганно сидя на кровати, смотрела, как метался в злых и жалких слезах внучек.

— Успокойся, Валинька, бог с тобой,—шептала она, личиком сухоньким трясся... Кольцов же рвал билет в малые клочья.

— Вот тебе, вот тебе, проклятый!

И места не мог себе найти: завтра являться в волость... Волость, а дальше? Дальше? Никуда не уйдешь! Фронт... Смерть! От нее под кровать не спрячешься.

ХII.

Зима цвела белой хризантемой.

После метелей росли сугробы. Шапки на крышах тоже росли. Алые зори наобещают ветра—и ветер не опоздает, во-время начнет озорство свое позёмное,—крутит, вертит, рвет на сугробах хохлы... А потом успокоится, ляжет спать. И зорь—совсем не видно: небо, как медведь, лохмато—лохмами туч обрастает, серое, безветренное.

Усадьба все тише, все спокойнее. Возят рабочие дрова—возят и режут. Из труб—дым. В печах после дыма остается тепло.

Подле печки прокоротать вечер и заснуть надолго: не ночь—год целый.

Неприбранные комнаты глядят уныло: на полу окурки, серые узоры просыпанного пепла. Без женщины—сиротливо. Васька счастлив: проезжий валяла променял, за Федора Андреевича сюртук,—серые мягонькие валенки; Ваське в валенках тепло, Васька весь день на работе, а вечером в кружке читает Гоголя и уездную газету «Молот»... После чтения—репетируют, иногда танцуют. Но чаще поют, и песни грустные, зимние: «Сереза пастушок» и «Любовь, любовь чтой-то такое».

Может быть бывает немного скучно...

А Федор Андреевич целыми днями молчит,—даже в контору или к наряду выходит редко. После обеда ложится, мучается тяжелой одышкой и легонько вздыхает. В сумерки встает, проходя мимо зеркала отворачивается, чтоб не видеть лица своего, наливающегося смертельной влагой. Не зажигая огня подсаживается к печке, помешивает угли кочережкой. От яркости желто-красных переливов болят глаза... Но от догорающей печки трудно оторваться: по сыпучим углям пробегают темные и светлые—вперемешку—сплохи; голубыми лепестками вспыхивают быстрые огоньки, и гаснут. Остатняя головешка еще дымится белым молочным дымком...

Федор Андреевич глядит не отрываясь, копнет раз-другой—и опять сидит: там, в дыхании алом углей, как в зеркале, отражаются стариковские думы. Длинным караваном проходят думы—приводят к распухшим ногам, к печке, к концу...

Но вот догорает и головешка. Вьюшки стучат, ложатся плотно. Угли покрываются пеплом (пепел—старость дровяная и смерть), печное нутро меркнет...

Федор Андреевич зажигает лампу и берется за карты. Пасьянс не клеится.

XIII.

Васька вытащил из голландки валенки, голландка высушила их славно. После холодного молока—сладенькая пленочка сливок поверх—стало беспокойно в животе.

Начинало светать. Звезды еще мерцали на зеленом небе. Было очень тихо и чуточку морозно. Усадьба лежала покойно, как кладбище. Опушенный на ночь плагбаум замыкал дорогу.

Спустившись вниз, к Волге, Васька остановился, закурил. Выныривая из лозняка, строчил куда-то в сторону несвежий лисий след. Огороженная елочками прорубь подернулась тонким стеклышком. На другом берегу Васька сошел с дороги—запахал напрямки. Пустой сеной сарай с сорванными воротами, показывал наполовину раскрытый пол, занесенный снегом. В ольховых кустах пряталась сторожка. Трофим колот перед крыльцом дрова,—трудно поднимал топор, слабо тяпал по полену и безнадежно дул на синеющие руки. Он приветливо осклабился:

— За охотой?

— Да, дед.

Сторожка опять спряталась. За строевой рощей, в ложбинке, десятком немудрых избенок расплзлась деревушка Низинки. Толстая, заспанная девка в кофте из плешивого плюша, вела на веревочной обрати солового мерина с темпой гривой...

В избе было по утреннему тесно. На полу необруанные сеники мешались с одежинами, которыми одевались ночью. Подлекуча прутьев, начатая заплетенная корзина, за ними, на горшке, белоголовый мальчишка в грязной рубашонке. Митрий сидел у окна, курил, сплевывал. Он был бос и всклокочен.

— А-а! Василию Федоровичу...—Митрий протянул руку,—смотри, наследника не задавь.

Наследник посмотрел исподлобья и застыдился. Васька осторожно отодвинул мешок с гречей, сел на лавку.

— Ну как, дядя Митрий, ходим?

— Нельзя мне сегодня... Смотри, чего с нею делается. Матери вышло—массия!

Он показал на босую свою ступню. Незавязанный нарыв был страшен.

— Да ты, Василий Федорович, ступай один. Бери Дружка и алё...

Митрий, хромя, вышел на мост. Тощий половый кобель, увидев ружье, радостно взвизгнул, заласкался, натягивая веревку и вспрыгивая. Выскочив на улицу, он залаял, скоком пустился вдоль изб, вернулся, умильно поглядел на Ваську, поматывая хвостом, ударил по валенкам упруго и весело... Пошли.

Тут же, за ригами, начинались овими. Сквозь подошву чувствовались, под неглубоким снегом, мерзлые комья земли, не разбитой бороной. Дружок мелькал далеко вправо. Васька шел прямо, вдоль межи. Косые солнечные лучи били сбоку, снег горел мелкой искрой. На нем издали маячили темные пятна: жировка. В небрежно развороченных ямах ярко зеленели обкусанные плоские былинки. Оголенная земля выглядела посреди снега очень странно. Васька начал огибать дугу—все было истоптано сплошь,—и тотчас же наткнулся на обратный след, разобрался, вышел к кустам. Дружок где-то запропал.

След был совсем чист и спокоен, в кустах перекрецивался с неторопливой лисьей строкой. Попадались понурые, под снеговой кладью, елочки. Лиловели ольхи. Загустело. В перелеске, перед длинным неглубоким овражком, заяц начал смётывать. Васька (вполголоса) наманивал недолго.

— Вот-вот-от-ототот.

Посыпалась, взмыла тонкая снеговая пыль; вскинув уши, выскочил из можжевельника Дружок, заметался галошцем, взвизгнул, нырнул в овраг и сразу налетел на лежку.

Мелькнула рыжеватая-серая спинка, Васька попробовал ударить, вскинул... Но русак уже поднялся по склону наверх, облач

ко пыли оставил за собой—и пропал. Хриплым голосом гнал Дружок.

Заяц заворачивал верхом. Гон был хорошо слышен в безветрии. Дном овражка зеленели большие пятна проступившей сквозь снег и замерзшей воды. Васька остался на месте, постоял, осмотрелся (прыгало сердце), сдвинул сетку назад, зашел за низенький можжевельный куст и сел на кочку, стараясь успокоиться. Рядом, на сухом месте, заячья лежка—пук летяшней, застебленной травы, кочка, склон; между—умятый, желтый снег и черные катышки. Зябли уши. Положив на колени двустволку, Васька грел их руками. Голос Дружка становился все громче, завиял, шел овражком.

Уши, сердце, солнце—к чорту! Пальцы сжали холодное, металлическое, твердое; глаза напряглись до слез.

-- Ру-ур!

— Р-р-р... Р-р-р!— Эхо.

Кто-то стрелял—рядом, недалеко. Оборвался гон...

— Из-под Дружка убил, сволочь!

Волнуясь (сердце, сердце!), быстро шел, злой, обиженный, готовый к скандалу и крепкой ругани. Провалилось под ногой зеленоватое пятно, валенки взмокли—к мокрому налипал снег. Поворот, ольховая молодь, солнце, густая тень от склона и—что за ерунда!—сидя на корточках, обрезала зайцу передние лапки—женщина. Желтый бобрин—кофточка; черная юбка... Женщина!.. Сразу заблылась обида, злость, осталось одно любопытство. Мелькнули подброшенные вверх белые кусочки: гибкий половой высоко подпрыгнул за ними. На оранжево-красном снегу лежал ружок. Между усами алыми горошинами замерзала кровь.

(Быстрый, смущенный взгляд.)— Это ваша собака?

(Ружье на погон, руки в карманы.)— Моя.

(Густеющий румянец. Глаза—вниз.)— Вы не сердитесь; что я, что я вашего зайца... То-есть, если собака ваша...

(— Хорошенькая! Зубы-то, зубы... Краснеет.)— Что вы, что вы, пожалуйста.

(Улыбка. Глаза черные; хитрят.)— А то возьмите его себе.

(Руки из карманов, шаг вперед, к козырьку.)— Я очень рад... Мареев, Васька, с прозвищем Лобуда.

(Удивление... Смех лезет наружу. Не пускает.)— Фиколенька!

Пожали руки, постояли, помолчали. Дружок обнюхивал голову с длинными ушами и стеклянными картечинами глаз. Васька подумал немного и сказал:

— Дальше мы пойдем, конечно, вместе? (почему конечно?).

Фиколенька хохотнула.

— Да, да, да!

Опять полосы. Торчало унылое былье. Васька удивлялся—баба, а с ружьем. И откуда такая?

Оказалось из Орехова. Учительница. Осенью приехала из Петербурга,—голодно, мороз, нет воды,—забавно морщилась [вздернутый нос.

— Орехово? Да ведь это совсем рядом! Верст семь от нас.

Перебивали друг друга и смеялись беспричинно. Вышли на пригорок—с него отчетливо рисовалась далекая Кривякинская усадьба. Васька показывал.

— Вот скотный двор. А это зимний дом.

Когда расставались, обоим не хотелось уходить.

— Так значит придете на спектакль?

— Приду, приду. Вот не верит!

Усталый Дружок стоял смиренно. Близился вечер. Долго прощались и, уже разойдясь в разные стороны,—остановились. Поглядели друг на друга, Фиколенька крикнула:

— А вы, Вася, когда-нибудь бреетесь?

Взмахнула рукой, пошла, уже не оглядываясь. Васька широко и глупо улыбался, потрагивал колючки на подбородке. Навстречу тяжело летела ворона. Поднимая курки, Васька подумал:

— Если да—тогда...

Ворона была совсем близко—почти над головой и он не успел додумать, что именно должно произойти в этом случае: ясно, что-нибудь хорошее... Брошенный ком из перьев и крыльев забился по белому. Дружок вяло понюхал голубые вороньи ноги и, поджимая хвост, поплелся за Васькой...

Жизнь моя, молодость моя, счастье!

XIV.

Все билеты расхватили мигом, с таким шумом гвалтом и бранью, что у Васьки голова кругом пошла. Он, не считая, запер в шкатулку ворох дензнаков, сунул в кармашек билетик (самый лучший,—первый ряд, шестое место—вот как!). В двери ломались безбилетные. Курносое в широком сюртуке и крахмальном воротнике стоял, растопырив руки, уговаривал:

— Никак, товарищи, нельзя. Все дочиста распродали. Не толпитесь, пожалуйста, граждане.

Фойе было набито битком. Перед раздевалкой Степочка выстраивал очередь, Тимоша развешивал на гвозди пальто и шубы, совал взамен бумажки с цифрами. Девки оправляли измятые платья,—оборки, рукавички,—жались как овцы. У дверей в зал напряженно пыжились—будто перед фотографом—расписанные гордостью контролеры Ротан и Минька—Миньке шепнул Васька, проходя в зал:

— Если будут меня спрашивать—сейчас же лупи на сцену, ко мне, понимаешь?

В зале Сенька зажигал лампу. На сцене было очень светло. Ваську холодом покалывало сладкое волнение. Он поправил

картинку на стене, передвинул диван и спрыгнул с подмосток. Внизу, посреди разного хлама—досок оставшихся от сцены, мебели, ведра с водой, перед столом—вертелась Манька: смотрелась в зеркало. Тимофей Кузьмич переобувался в ботинки.

— Гримироваться пора,—сказал он.

— Пора, пора....

Чуть слышно доносился через стену говор. Сипела лампа. Ящичек с высохшими красками. Пудреница. Обрывки треса. Трепетало в груди—придет или не придет? Тимофей Кузьмич мазал Степочку, Маня жалобно пищала:

— Ой, как страшно.... Ни за что не выйду.—И старалась, глядя в тетрадочку, еще раз прочитать свою роль. Сенька потянул Ваську за полу.

— Звонок можно дать? Первый?

— Давай.

Говор усилился, напрягся, развалился обломками по залу.

Сенька, позвякивая колокольчиком (колокольчик-то в кармане), показывал куда садиться. Раздвинув занавес, Васька смотрел в шелку. Подошел Степочка.

— Посмотри-ка, Лобуда,—хорошо?

Пузырилось галифе. Усы топорщились вениками. На жилетке висел клоч сена. Васька улыбнулся (придет или не придет?).

— Зачем столько?

— В роли так написано.

Бондарь Иван, которого все звали, неизвестно почему, Казаком, в бачках, с напудренными волосами (седина) походил на обезьяну. Он повязался большим, белым фартуком—у Мартына Ивановича стрельнул. Курносов, тоже загримированный в халате и очках, убеждал:

— Да сними ты, Иван! Разве лакеи ходят в фартуках? Это дворники в фартуках ходят.

— Как же без фартука, когда все колени рваные, вилял Казак,—насилушку я яво у мастера выпросил, а ты,—сними.

— Давай второй,—уныло сказал Васька (не придет!).

Колокольчик залился дробью. Зал заполнился еще плотнее. Кто-то в далеких задах, хлопнул. Отозвались. Подхватили. Заплескали, затрещали, затопали:

— Хо-хо! даешь, даешь!

— Скорейча!

Из-под занавеса вылезла Сенькина голова—можно?

Не придет! Минуточку бы еще...

И Васька хитрит:

— Погодите, ребята, я сейчас, только на двор сбегая.

В коридоре было пусто и холодно. У дверей стоял Минька.

— А Ротан где?

— Мальчишки тама...

В прихожей, в темноте, Ротан кричал в запертую дверь:

— Ей богу, сейчас выйду! Всем уши пооборву...

За дверью улюлюкались, матерились, кидались ледяшками. Васька подошел:

— Пусти-ка.

На дворе было лунно и светло. Ребятишки разлетелись стайкой переполошенной, отбежали и остановились: а в сторонке... не разберешь. Или... хрустнул снег, ребята припустились галопом... Из-под шапочки глянула, обожгла—так! Хохотнула коротким смешком:

— Мы уже хотели домой итти. Двери заперты, не отпирают... Это... это .. из нашей деревни... Андрей.

Шинель долгая, до пят. Андрей? Так... Но в сторону, в сторону!

— Пойдемте скорей, трегий звонок был.

Тискались в проходе, наступали на чужие ноги—зал тонул в спертom, мглистом, громком—по-ра на-а-чи-и-на-ать! Перед первым рядом стояли замызганные ребятишки, подталкивали друг друга локтями... Уже дошли и—батюшки!—вспомнил Васька билет-тоодин...

— Ничего,—шепнула Фиколенька,—я к Андрею на колени сяду.

XV.

Тсс... Шшш... Занавес.

Строчки запрыгали вкось и вкривь, разбежались. Васька моргал,—строчки, покачиваясь, стали на места,—и зашипел:

— Казак!.. Нехорошо барыня... губите вы себя только... Горничная и кухарка пошли по ягоды... по ягоды....

Иван говорил деревянным голоском и, совсем ни к чему, разводил руками. Фартук свисал белой юбкой. У Манечки дрожали губы, щеки краснели двумя пухлыми булками. Васька мельком взглядывал на них, потом на серенькие строки, шептал.

— ... а то велели бы запречь Тоби или Великана и... к соседям.... к со-се-едам в гости. Манька, ах!.. Манька, плачь, плачь, платок....

Казак ушел. Манечка уперлась в фотографию и заговорила плаксиво.

— Ты увидишь Николаэв, как я умею любить и прощать!

Все внимательно слушали. Смех прерывали свистящие «тсс!». Лампа мигала судорожным синим огоньком, воняла керосином. В первом ряду (место № 6) на алых коленях распласталась черная юбка. Мужская рука, с кустиками волос на суставах, легонько прихватывала твердое, сквозь материя, бедро....

Антракт. На сцене Сенька. К нему все:

— Ну как, ну как?

— Замечательно! Только Манька наша плакала нехорошо... А у Степочки подтяжка сзади торчала.

Ваське очень хотелось сбежать хоть на минуточку в фойе. Но... он вздохнул. Попросил:

— Сень, приставь к первому ряду стул... для этого, который в красных штанах... Ладно?

— Ох, Васька, да в какую же дверь мне выходить?

— В эту, в эту... Ну, уходите скорее. Давай, Сенька!

Раз-раз, раз-раз— кольца царапались по пруту, занавес раздвинулся. Кто-то торопливо покашлял.

Крепкими, холодными пальцамихватило и сжало живот... Васька откинул портьеру и вошел на сцену. Скрипнула половица. Из будки высунулась Степкина голова— зашипела неслышно. Вставая навстречу, протягивал руку Курносов. Зал, светлый подле рампы, уходил куда-то в темную глубину. Из тьмы— круглыми каплями— лица, лица... чолки, белые платья. Все смешалось, запрыгало мячиками. Васька машинально пожал протянутую руку, проговорил что-то и крепко мигнул. Как давеча, строчки лиц стали на места— в первом ряд, сбоку неподвижно квадратилось лицо с бобриком. «Молодец Сенька»— успокоенно подумал Васька и ему стало весело.

— Видите-ли, Уважай Степаныч.... виноват, Степан Уважаемый...— сказал он, привычно меняя голос на нужное, и повел глазами по ряду. Над белой кофточкой он увидел улыбающиеся губы, подумал «хорошо»!

Все шло как по маслу. Только Тимофей Кузьмич— ну конечно!— сказал по-своему:

— И что за комиссия быть создателем взрослой дочери!

XVI.

Звякали шпоры. Черная юбка веяла флагом. Вальс от клавиш медленно расплывался по залу. Счетоводша, Анна Аполлоновна, прилежно зарабатывая свои пятнадцать фунтов, не глядя, перебирала пальцами.

Васька, смыв с лица краски, спустился вниз, нетерпеливо ждал,— дождался— тот, бобрик, отошел, хмурясь, к печке.

Перепархивали звуки. Под рукой— крепкой посредине струной— спина. А улыбка— близко, близко— вплоть...

— Вы хорошо играли.... А поцеловались, с этой, ну, с невестой своей... прямо завидно.

Поцеловался? Васька отвернулся, но— не уйдешь!— в зеркале встретился-таки: смеялись глаза... погоди-же—

— А как вам, на коленях— удобно было?

— Что!?

Замер вальс. Так ничего и не ответила Фиколенька.

В парной и дымной мгле пестрым кольцом обсыпали лавочки. В конце, подле двери, толпились стоя. Оттуда, в несколько голосов сразу:

— Желаем кадрель!

Растерянно пожимала плечами— на плечах накидочка кружевная— Анна Аполлоновна: не умею!

В ответ:

— У нас своя рояля имеется!

Парень в большой кепке разложил на коленях гармонь, потрогал лады, наклонил к мехам ухо и уселся поудобней. Двумя тесными рядами растянулись, жались, ждали. Сенька кричал:

— Товарищи, не беспокойтесь, будет еще одна очередь!

Кто-то захлопал в ладоши. Гармонист поправил ремень. Гармонь завизжала и закричала, пары сорвались с места— грохотом отколачивали каблук хитрую дробь...

Сидели рядышком на сцене. Внизу металась разноцветная неразбериха.

— Ничего не понимаю...

— А вы разве не танцуете кадрили?

— Нет...— Фиколенька сжала Васькину руку и шепнула,— посмотрите— сердитесь!— И позвала:

— Андрюша, идите сюда!

Андрюша подошел, скрестил ноги и звякнул шпорами:

— Не понимаю, какой смысл допускать этот дикий танец... прямо избушка, а не кружок.

— Это дело, знаете-ли, наше,— запетушился Васька, но сдержался, помолчал и заговорил о другом.

Нестройные голоса шумели:— Казенку... Казенку!

— Это еще что такое?

«Казенка» заключалась в том, что пары целовались. Это было очень приятно.

Кадриль кончилась. Зал пустел. Подошел Степочка.

— Знаете что я надумал? Пускай кадриль в коридори танцуют, под гармонь, а здесь легкие танцы.

— Ладно,— отозвался Васька.

Степочка убежал. Тотчас же запрыгали бойкие тактики кравовка... Васька танцевал без отдыха—ему было очень жарко, пот скатывался по подбородку... Но ведь это пустяки, пустяки! Сияли зеркала, плялился плакат, гирлянды крестили потолок. Сенька разносил записочки, выкрикивал: «Сорок первый!» «Одиннадцатый!» Грушка, прислонив к стене бумажку, выводила старательные букочки. Из коридора напирала лихие каблучные топы.

— Ой-ой! Уже два... скоро нужно будет и домой собираться.— Фиколенька защелкнула часики. Волосы ее развилась, пудра стерлась, по смятому батисту—потные пятна: кофточка липла к лопаткам... Но ведь это пустяки, пустяки!

— Неужели теперь до Рождества?

— Нет, зачем... Знаете, вы как-нибудь приезжайте ко мне... У вас должно быть лошади хорошие? Вы меня покатаете?

— Гм... да! Конечно.

Подошел Сенька—сунул записочку. Фиколенька прочла, заулыбалась, покраснела.

— Ох Андрей, Андрей! Ну и дурак же... Возьмите, Вася, только не читайте сейчас—после.

Танцевали. Время уходило, вертясь и приплясывая. Редело в зале. Парни из Мокрого, уходя, чистили: «Эх, милашка, темная ночь, давай семячки толочь».

Тимоша, сонно хлопая глазами, раздавал одежины. Андрей, затянув на шинели ремень, глядя в сторону, сказал:

— Я ухожу.

— Сейчас.

Васька помог одеться. Фиколенька, застегивая кофту, беспокоилась, вертела головой:

— Где же он?

— Вперед ушел.

На лестнице было темно. Васька сжал бобриковый локоть.

— Осторожней.

Шаг вниз. Другой. Ступенька, ступенька. И тьма.

Бобрик мягкий, пушистый. Еще ступенька. Впереди зеленеет четырехугольник двери...

— Фиколенька!

Голос хрипнул— не сильно. Ступенька. Тьма... Эх!

Шел—волосы, шапочка, затылок. Звякнула о пол шпилька. Подбородок, щека и— вот они губы! К запрокинутому лицу прижавшись,— не к лицу, нет— не успел передохнуть— крепче, крепче!.. Задохнулась:— Милый...

— Прощай!

— Прощай!

Впереди длинная фигура. Кубанка плоско. Тень черна, тянется через двор к конюшне: луна лезет за Волгу, к старику Трофиму в гости.

Мороз обжигал. А в зале совсем пусто— только пыль и мгла. Сенька тушил лампы. Васька разгладил измятый лоскутик и прочел:

«Фекла, почему ты без номера?»

XVII.

Раскрытая книга лежала рядом с ящичком— в ящичке аккуратно колоды, Федор Андреевич не спал, сидел, тяжело локотился— лбом в ладонь. В углу неосторожно скреблась мышь.

Васька (лесенка-то! Рукав-то бобриковый!) весело рассказывал:

— ... Так удачно! Ей-богу, хорошо играли!.. А Манька, когда в обморок падала, закрыла лицо и всю кофточку о губы перепачкала. Сенька увидел, погоди, говорит, тебе мама задаст... Нашел, дурак, чему радоваться... Ну, дёра Маньке, конечно, будет...

Васька резал хлеб, наливал молоко, жадно жевал, глотал, рассказывал захлебываясь. Федор Андреевич, закрывая глаза, слушал внимательно, должно быть.

— ... я в корпусе и то столько не танцевал... Очень было весело (а бобр-ик-то! Хо-хо! Нос бобр-ику). Все ужасно довольны остались.

Трещал фитилек. Васькина тень ложилась через всю стену. Федор Андреевич выпрямился, охнул; посмотрел сколько—смотрит и не видит.

— Совсем я плох, Васюк... Умирать собрался...—Попытался улыбнуться: не вышло.

Вот тебе! И внимательно слушал, а тут—пожалуйте! Тускло и меркло недавнее веселье... Где же ты радостное? Нету. Все вышло... Вылилось! Еле-еле хватило остаточков еще раз улыбнуться:

— Брось, папаша, ерунду говорить.... Давай ложиться. Но сна не было.

XVIII.

По усадьбе ехал шагом. За шлагбаумом и вѣтлами, на крутом спуске натянул вожжи еще крепче. И только на льду отпустил: цок-цок—ровной рысью. Мело. В сумерках снег и тучи мешались в серую кашу, дорога сугробилась неглубокими волнами. Вешки торчали, как молодые деревца. Сарай, сторожка, красная латочка — окно. Скорей бы!

Под пальто (отцово) забирался холод. Колючая пыль, колючий ветер и уже ночь. Вот он пригорок, на котором стояли тогда. Сейчас дорога уйдет в ельник.

Стало тише. Дорога пошла гладко. Васька пустил Ханшу шагом. Черные ели протягивали над головой лохматые лапы.

Впереди заиграли по темноте огоньки, приблизились. Околица. Затягивали невидные собаки, замелькали избы, окна, колодезные журавли. Выросла большая груда—школа. Васька под'ехал. Непослушные пальцы долго затягивали узел—все не могли затянуть. Ханца мотала головой. приплясывала в оглоблях—будто не было семи верст позади...

— Кто?

— Я-а-а... (басом).

— Да кто я?

— Инспектор из Наробрава (хо-хо-хо!).

Щелкнул крючек. Темно. Коридор. Где-то сбоку раскрылась дверь—косым углом лег по коридору свет.

— Вася! Вот чудак. Что же вы сразу не говорили?

Шагнул через порог. Сразу в глаза—узенькая коечка под белым пике одеяла—над ней собаки в рамке, ружье, ягдташ. Фиколенька пожималась под шалью.

— Ка-кой холодный. Раздевайтесь скорей.

Васька стянул пальто. Осмотрелся. Повесил на гвоздик. Немножко неловко. Рукам беспринутно. Приглядел волосы. Куда бы сесть? Стул один...

— Да садитесь, садитесь! А я на кровать.

Пике осело, перекрылось складками. Васька поспешил отвернуться—под рукой раскрытая книжка—захлопнул—на обложке «Империализм, как новейший этап капитализма».

— Что, не ждали?— Хохотнула. Говорила скромненько. Васька томился: как же—лестница, шпилька упавшая. Неужели не было? Было! А тут как на-зло:

— Хотите чаю?

И ушла! Чорррт... Васька прошелся по комнате. Тронул кровать—твердо. Вернулся к столу... Какой-то детский рисунок,—профиль с двумя глазами на одной щеке. Тетрадки—в них пальчики, похожие на кнутики.

— Закипает!—Фиколенька вытирала мокрые руки.—А вы зачем мои тетрадки трогаете, а?

Васька вспомнил о Ханше.

— Кататься поедем? Лошадь—рысак. Ей богу!

— Да ведь холодно?

— Ничего не холодно, что вы... Удивительная лошадь! Я сейчас ей сена дам...

Фиколенька взяла лампочку—посветить. Примерзшая дверь отворилась туго, в сенцах свистел ветер—пламя заметало в стекле, опачкало его черным. Из-под порога струились снежинки—мелкие, как песок.

— Скорее... холодно!

Васька отстегнул крючок, вышел на крыльцо. Облило кипятком, ударило, пробило насквозь—лошади не было!

Нахлобучил шапку—вкривь, вкось,—все равно! Тыкался рукой—вместо рукава попадал в боковой карман. Фиколенька, губу закусив, потупилась.

— Вася, неужели уйдете?

Не слушал Вася. Что же теперь? Вот горе-то. Угнали! Угнали Ханшу. Хотя нет—должно быть отвязалась, ушла. Даже не попрощался—скорей, скорей, бегом.

Как это вышло—не понять, —вырос вдруг перед Васькой плаглаум. Казалось, что не бежал, не шел,—разве шагнул разик... Подле конюшни стояла Ханша. Дремала. Болтался оборванный повод.

Васька увидел. Спокойно. Подошел. И сразу почувствовал, что он—Васька, что все прекрасно, что никто ничего не узнает. Фиколенька—сон, только сон!

Он прижался щекой к холодной шерсти и поцеловал Ханшину шею.

Совсем спокойный—сейчас спать, спать, спать!—Васька вошел, разделся. Осторожно—не разбудить бы—вытащил коробок, чиркнул. Голубой огонек спички пожелтел, расцвел. Миг.

...конец стола, сбоку шкафчик посудный, печка... Обтрепанное кресло—в кресле сидит—локоть на ручке.

Миг,—как лезвие. Тьма.

— Папа! Папа!

Сжимаясь от наступающего ужаса, быстро шагнул, потянул за руку—рука медленно свалилась—медленно разгибаясь, стала спускаться к полу. Васька успел рассмотреть отвисшую челюсть—бородка упиралась в грудь и,—еле слыша свой дикий визг,—рванулся к двери.

БОРИС ГУБЕР.

* * *

Кто пожелает мне счастья, —
Счастью не вижу примет,
Лишь вспоминаю все чаще
То, чего уже нет.

Думаю только о милой —
Думы, как голый сад.
Все пролетело мимо
И не вернется назад.

Были все реже встречи.
Не повторится юность.
Не потому ли в тот вечер
Милая не вернулась.

Не помогает поле,
И не поможет ветер —
Крик затаенной боли
Слышу в его привете.

Грустью и ранней досадой —
Чем же себе отвечу.
Юность зеленым садом
Не прошумит навстречу.

Не прошумит, не спляшет,
Не загорланит песен,
И на пиру за чашей
Я просижу не весел.

Как мимолетно счастье,
И невозвратен след,
Лишь вспоминаю все чаще
То, чего уже нет.

В. НАСЕДКИН.

Пять декабристов.

1.

Каховский.

Каховский, ты? Здорово, брат!
Попрежнему в усердьи пылком
Все жаришь до ста раз подряд
Из пистолета по бутылкам?

Из темного угла не ты ль,
Сморгнувши выстрелом осечку,
Вдруг пулей загасил—в бутылъ
Пустую—воткнутую свечку?

Его скорее уберем,
Не то испортит всю пирушку,
И взбрендит спьяна, что с царем
Играет будто бы в кукушку.

А он, разлив стакан с вином,
Оцепенел и в ночь без цели
Прицелом глаз, уже в ином
Столетьи, сумасшедше целит.

И брошен на пол пистолет,
Совсем разряженный. Что в этом!
Ведь долго ждать: через сто лет
Ударит пуля рикошетом!

2.

Рылеев.

В передней грудой кивера
Валялись, виснули шинели.
И шла авартная игра
На жизнь и смерть,—уж не во сне ли?

Но комнаты еще в чаду
От дыма, крика, разговора.
«Прощай, Наташа, я иду»...
Пребрался в спальню тише вора.

Руками шею обвила:
«Куда? Зачем? Что это значит?»
Сама, как простыня бела.
«Уйми, пусть Настенька не плачет».

По лестнице бегом,—скорей.
Сенат и площадь недалече.
И в плотно сжатое каррэ
Стал под шпигрутены картечи.

Ушел!.. ушел!.. И дом так пуст,
И только под ее руками
Все слышен тонкой шеи хруст,
Вдруг заскрипевшей позвонками.

3.

Муравьев-Апостол.

«Черниговцы! За мной вперед!
Где брат?»—А он из дула пулю,
Бокалом вылив выстрел в рот,
Проглатывает, как пилюлю.

Каррэ картечью размело.
Их четверо всего. И, спешась
Гусары, шашки наголо,
Его ведут, пинками тешась.

«Он рядом тут... Чуть свет пойду
Проститься». И повязка туже
Налипла. И кричит в бреду:
«Кузьмин погиб, а где Бестужев?»

И брат на глиняном полу
Лежит, и опухоль у глаза.
Губ мертвых страшный поцелуй.
Облобывайся с ним три раза.

Все кончено. Хотя б картечь
Насквозь прошибла череп вязкий,
Иль кровью дали бы истечь,
Сорвавши с головы повязку!

4.

Бестужев-Рюмин

В бессонице тоской шалей!
За золотую шпору шпица,
Ночь белая, кисейный шлейф
Задев, не может отцепиться.

И шопот: «я твоя... твоя...»
И с койки в ужасе сорвался.
Не девичья то кисея,
А саван вьется в ветре вальса.

«**Я**, как другие, мог бы с ней
Сесть на скамейку там, под липы.
Мне—двадцать три...» **И** вдруг, к стене
Отворотясь, по-детски всхлипнул.

Но с воли, ласточкой под свод
Взлетев и skleпы потревожа,
Чей голос звонко так поет
Из каземата?—«**Ты**, Сережа?»

Пошатываясь, встал с колен,
И вдруг пришел в себя, услыша
Далекий голос, из-за стен
Несущийся: «**Мужайся**, Миша!»

5.

Постель.

«**Ужасно** это дело, но—
Так надобно». Он не попросит
Пощады. Взгляд его стальной
Не выдержит царь на допросе.

«**Что** с нами сделать там хотят?
Я, право, даже не расслышал.
Скорей бы... все равно...» **И** взгляд
Потупя, черный пастор вышел.

В дожде ночном ализарин,
И тушь граниты очернила.
Дождись: Нева алей зари
Разводит красные чернила.

И виселицы столб в воде
 Канавы обмакнув, как ручку,
 Под «Русской Правдой» выводи
 Петлей намокшей закорючку.

Рассвет жавеловым листом
 Забрежжит, но и с солнцем вместе
 Заре не вытравить потом
 Ночную подпись: «Павел Пестель».

МИХ. ВЕНКЕВИЧ.

МИТИНГ.

В клубок смотало солнце нити
 Малиновых лучей густых.
 Как собравшиеся в клуб на митинг,
 Перешептывались кусты.

Совещаясь и скучая,
 Позевывал вечерний лес,
 Пока звезды включал
 Электротехник небес.

Говорила с трибуны вяло,
 Улыбаясь глупо, луна,
 Вытирала платочком алым
 С лысины пот она.

Кого-то в болоте лишили слова
 Оплывшего салом и тиной,
 Протестовали лягушки и совы,
 От комаров отбивалась скотина.

Но, вот в отдаленьи рампа сверкнула,—
 Заговорил оратор-гром.
 Толпа в ладоши плеснула,
 А потом—тишина кругом.

Скоплялась напряженно и тихо
 В мускулах дрожь и гроза.
 Возбужденным сверкали вспыхом
 Светляков голубые глаза.

И всю ночь сердце ёкало
 От молний и громких слов.
 Переплеск оправы и стекол
 Его золотых очков.

Оратора прерывали
Громовые аплодисменты.
Зеленым огнем в зале
Змеились руки и ленты.

И, когда утренним светом
Золотой свиток лег,—
Резолюцию за власть Советов
Вынес восток.

МИХ. ГЕРАСИМОВ.

Из поэмы «1905 год».

Как сейчас твое я вижу
В цветеньи заревом лицо,
Ты была, как солнце, рыжая,
Сверкающая пылью.

Тебя мы звали просто Пчелкой,
И вся ты в творческом бреду.
Была под голубою елкой
Явка в Струковском саду.

Сирень любовные об'ятя
Раскрыла буйные цветы.
Нам листовки из-под платья
Ловко раздавала ты.

Внизу торжественная Волга
Билась серебристым хрустом.
Рыскали шпики, как волки,
Обнюхивая каждый куст.

Мы в звонкий сплав готовы слиться,
В кулак единый против них...
Им странны вдумчивые лица
Крючников, мастеровых.

Гудящим ульем странствовали,
Споря напролет ночами.
Гуляющее мещанство
Шуршало чванством и шелками.

Билась пульсом жизнь неровным:
Вот и сумрачное зданье.
Пришел к невесте я условной
В тюрьму на первое свиданье.

Ключи, решетки, ржавый камень,
 Так похоронно все звенело.
 Лишь Пчелка, как кипящий пламень,
 К живому вырывалась делу.

Могильной не покрылась пылью.
 Я дал ей свежих роз букет.
 Ее закованные крылья
 Бились в каменном мешке.

Еще я дал быстро;
 Чтобы рассеять тьму;
 Свежий номер «Искры»
 В жадно ждущую тюрьму.

МИХ. ГЕРАСИМОВ.

1905.

Летучки, митинги, массовки,
 Десятки, тайные кружки,
 Язык борьбы грозиво-ковкий,
 Пожатые крепкие руки.
 С любовью трепетной и лаской,
 Бывало, спрячешь под бушлат
 Листочки, пахнущие краской,
 И вот бежишь... О, как ты рад
 И счастлив этим порученьем!
 И благодарностью глаз,
 Сказавших ясно: «нет сомненья —
 Все будет сделано сейчас»...
 В каком-то сладостном угаре
 Кружились дни, огнем дыша,
 И слово гордое «товарищ»
 Струилось музыкой в ушах.
 Был жалкий пасынок и парий —
 Живущий милостью господ,
 И вдруг всесветный пролетарий —
 На гребнях солнечных высот.
 Был каждый день подобен году,
 Мужала мысль, ломая страх,
 И с песней пламенной свободы
 Шла юность в бурях и огнях.

ВЛАДИМИР КИРИЛЛОВ.

По дороге из ссылки.

(Из записок о революции 1905 г.).

А. Киселев.

На севере.

Бурное развитие революционного движения 1905 года застало меня в ссылке, в селе Дорогая Гора, Архангельской губернии, Мезенского уезда, куда я был выслан на 4 года по распоряжению департамента полиции. Высылка была произведена в 1904 году, после происшедшего перед тем провала иваново-вознесенской организации в 1903 году.

Общий революционный под'ем, развитие забастовочного движения среди рабочих в 1903 году, рост аграрного движения—все это образовало в Архангельской губернии большие кадры так называемых «государственных преступников».

В ссылке тогда можно было встретить представителей всех общественных и партийных организаций, а также участников всевозможных рабочих забастовок. В это время ссылка впитала в себя членов партии социалистов-революционеров, социал-демократов, польской партии социалистов, Бунда, дашнаков, Украинской Спилки, учащихся всевозможных высших учебных заведений. Многие из учащихся хоть и не вполне оформились политически, но настроены были революционно. Большие группы крестьян, высланных в связи с аграрным движением, дополняли эту картину. Аграрные волнения были особенно сильны, как известно, в губерниях: Самарской, Саратовской, Херсонской, Полтавской, Харьковской, Пензенской, где крестьяне испытывали невероятно тяжелую земельную нужду.

Ссылка в то время представляла собой сколок всей тогдашней общественной и революционно-политической жизни России.

Война с Японией, затеянная царским правительством, еще более усиливала оппозиционное и революционное настроение во всей стране, так как очень многие рабочие и крестьяне относились к ней отрицательно. Это недовольство можно было наблюдать и среди крестьян самых отдаленных уездов Архангельской

губернии. Уже тогда в большинстве семей были призваны по мобилизации и находились на фронте отцы, сыновья, мужья, братья и т. д.

В это время среди ссыльных по вопросу о войне с Японией царило полное единодушие. Все, выражаясь языком эпохи империалистской войны, были пораженцами. Я не помню среди представителей партийных оппозиционных течений таких ссыльных, которые одобряли бы эту войну.

В то время оборончество как будто и не существовало, во всяком случае не заявляло в ссылке о себе. Все ссыльные радовались каждому поражению войск царской армии. Отступление солдат в Манчжурии, гибель флота при Цусиме, падение Порт-Артура— во всех этих событиях ссыльные видели ослабление царского самодержавия и усиление роста революции.

В то время партии меньшевиков и с.-р. еще не смели так предавать рабочий класс и крестьянство, как это они сделали во время империалистской войны в 1914 году. В 1914 году, как известно, они полностью перешли на служение буржуазии и звали рабочий класс и крестьянство идти воевать для грабежа и захвата Дарданелл, Галиции и других лакомых кусков для жадной и хищной буржуазии.

В 1914 году меньшевики и с.-р. призывали рабочий класс и крестьянство к поддержке буржуазии, помещиков, банкиров и прочих дармоедов и паразитов, возглавлявшихся царским правительством Николая Романова вкупе с Распутиным.

Таковы политические сдвиги, которые произошли за полтора десятилетия не только в рядах российских меньшевиков и с.-р., но и в рядах старейших братьев оппортунизма в Западно-европейских с.-д. партиях.

Расстрел 9 января 1905 года петербургских рабочих, которые с хоругвями и иконами в руках шли к царю с просьбой выслушать их и разрешить их самые наболевшие нужды, показал всем ссыльным, что волна революционного движения поднимается все выше. Это сознание вызвало среди ссыльных большое стремление ринуться в борьбу, помочь в ней кто чем может. Начало 1905 года и ознаменовалось весьма значительным усилением числа случаев бегства из ссылки, так как события всколыхнули массы ссыльных, у которых, естественно, снова проснулось желание принять участие в схватке с самодержавием.

От этого общего стремления уйти из ссылки снова в революцию, снова стать в ряды борцов, вся жизнь ссылки получила чрезвычайно нервный, возбужденный характер. Это движение увлекло и меня.

Но моя попытка бежать не удалась. В то время на дороге меня задержали и вернули обратно. Потом последовали усиленный надзор, всевозможные притеснения, которые так знакомы политическим ссыльным, попадавшим под особое наблюдение, и, наконец, перевод в другое место.

Так я дожил в Мезенском уезде до октября 1905 г., до тех событий, которые вырвали у самодержавия манифест 17 октября и освободили нас всех.

Осенняя распутица в Архангельской губернии отрезывает этот отдаленный край от внешнего мира на месяц, а иногда и на значительно большее время. Из уездных городов сообщение было возможно только по телеграфу. Газет в этих заброшенных местах не издавалось, а из Петербурга, Москвы и Архангельска газеты не приходили из-за распутицы, которая прерывала почтовое сообщение. Все ссыльные сидели по своим местам, занимаясь своими обычными делами, которые обычно заключались в усиленной работе над пополнением своих весьма скудных знаний.

В один из октябрьских дней ссыльные Дорогой Горы через одного из крестьян получили вдруг из Мезени коротенькую записочку, набросанную наспех, в которой коротко сообщалось, что мы все должны немедленно «собирать вещи и приезжать в Мезень».

Мы были очень удивлены этой категорично написанной запиской, не вполне понимали, почему и зачем нас вызывают в Мезень, но тем не менее сложили свои скудные пожитки, наняли после колебаний, помнится, две тройки и в каких-нибудь три часа промчались около 35 верст до Мезени.

Приехавши в Мезень, мы забежали к товарищам, находившимся по пути, и везде нас встречало что-то непонятное: или запертые комнаты наших товарищей, или лаконическое сообщение хозяев дома: «все куда-то ушли». Наконец, в одной из квартир мы получили от хозяйки дома указание, что все ссыльные находятся на собрании в Народном доме, известном в Мезени всем и каждому.

Митинг в Мезенском Народном доме.

Под'ехали мы к Народному дому. Уже перед домом и вокруг него стояла толпа горожан; кое-где слышался шопот и неясный говор, но у дверей была полная тишина. Вошли в Народный дом, который оказался битком набитым мезенскими ссыльными и гражданами всех классов и положений. Протискались через публику и встали сзади собравшихся. За столом на сцене важно заседали наши товарищи; в их числе я помню, как теперь, Ландау, Копчевского. Другие стояли тут же на сцене, позади стола или сбоку. Некоторые сидели в первых рядах, на видных «почетных местах», вперемешку с наиболее видными и влиятельными лицами города, как-то: торговцами, чиновниками и проч.

Мы вошли в самый патетический момент речи с.-р. тов. Копчевского, который ярко и выпукло обрисовал преступления царского самодержавия по отношению к народу и призывал к решительной борьбе с остатками самодержавия. В ясной, четкой речи он рассказывал о расправах и кровавых ужасах, которые твори-

лись царским самодержавием над революционными борцами. Эта речь, произнесенная в открытом собрании, первая свободная речь на далеком севере, своей прямою и решительностью произвела даже на нас, ссыльных партийцев, сильное впечатление. Мы, ссыльные, в первый раз в своей жизни слышали свободную публичную революционную речь, открыто произносимую в присутствии представителей самодержавной власти. Мы все ясно почувствовали, что в России произошло что-то особенное, ибо вчера мы были бесправные и гонимые, а сегодня—свободные граждане, могущие свободно собраться, говорить, слушать революционные речи, обсуждать происшедшее, свободно выносить резолюции.

Прошло несколько минут, в течение которых мы внимательно слушали оратора; за это время товарищи, находившиеся позади президиума, увидели нас и стали махать руками и делать другие знаки, вызывая нас на трибуну. Мы рады были встретиться с товарищами и переговорить обо всем происшедшем. Поэтому мы быстро вышли из общего зала и направились по коридору. Выйдя из общего зала, за полуоткрытой дверью его мы заметили фигуру жандарма, жалкого, полусогнувшегося, спустившего голову и жадно прислушивавшегося к речи оратора. Он буквально ловил каждое слово, при чем физиономия жандарма и весь его вид напоминали виноватого, побитого человека, полного недоумений. Все происходившее ему представлялось, вероятно, какой-то анархией, катастрофой или светопреставлением, ибо все пошло вверх тормашками. Когда мы вошли за кулисы, то и тут за ширмой встретили другого представителя самодержавия — местного акцизного надзирателя. Этот представитель администрации также не смел показаться на сцене; неудобным казалось ему быть даже в рядах публики, и он, с'ежившись в три погребели, прятался за кулисами. Выражение его лица не было, однако, таким угнетенным и растерянным, как у жандарма. Чувствовались во взгляде его как бы ненависть и злоба ко всем словам оратора, которые он слышал.

Когда мы появились среди президиума, оратор уже заканчивал свою речь. В президиуме мы узнали о решении ссыльных по окончании речи оратора петь революционные песни, а среди ссыльных было несколько хороших певцов. Как только речь закончилась, мы тотчас же затянули «Марсельезу», которую в первый раз услышали здесь стены Народного дома: раньше тут пели «боже царя храни» и другие монархические и церковные песнопения.

После получившегося, таким образом, перерыва следовал доклад тов. Ландау, помнится, на тему, что такое социализм и каковы его задачи. Речь его заканчивалась призывом к об'единению, к организованности и к самой решительной борьбе с уже пошатнувшимся самодержавием.

После Ландау начались выступления местных ораторов. Выступил, например, начальник местной таможни, слышший в ок-

руге за ярого либерала, всячески поддерживавшего связи с ссыльными. Он получал журнал П. Б. Струве «Освобождение» и читал изредка получаемую литературу, издаваемую эсерами и эсдеками; иногда помогал ссыльным при побеге за границу и поддерживал связи с ссыльными. Этот гражданин свою речь начал с вопроса, «с кем же нам бороться, против кого вести борьбу, к которой нас здесь призывают? ведь враг побежден, распластан, лежит у наших ног, и непонятно, с кем и зачем бороться, за что еще страдать?». Среди ссыльных послышался смешок.

Чиновник этот был довольно толстый и внушительного роста, пудов, примерно, на восемь весу; его красное, безбородое, усатое лицо было явно взволновано и вместе с тем выражало недоумение. Из представителей местной интеллигенции, помнится, только он и выступал на этом митинге.

Докладчик тов. Ландау ответил, что именно теперь только и начинается решительная борьба с самодержавием, которое ни в коем случае не склонно будет без боя сдать свои позиции и, по всей вероятности, долго еще не примирится даже с тем, что вырвано у него революцией и признано в царском манифесте: ведь таково существо, самая природа самодержавия. Старые силы еще слишком велики для того, чтобы так сравнительно легко сдаться без дальнейших боев.

«Дарование свободы, — сказал докладчик, — есть вынужденный маневр, за которым еще будут бои. Провозглашенная свобода только расчищает путь для борьбы. Предстоит еще упорная классовая борьба между пролетариатом и буржуазией».

«А, это другое дело; я возразить *ничего не имею*, — вдруг пробасил этот толстый «оратор» и вызвал общий, гомерический смех всего собрания. Вспотевший и красный, он моментально затем ступеялся.

Речь Копчевского и доклад тов. Ландау произвели сильнейшее впечатление даже на таких слушателей, которые, казалось, были меньше всего способны к восприятию революционных идей и настроений. После речи таможенного чиновника, неожиданно поднялся один из местных крупных торговцев и вежливо попросил у председателя собрания слова. Когда ему дали слово, он заявил, приблизительно, следующее: «Настоящий момент требует от всех граждан, от всего народа отдачи всех сил и средств на алтарь свободы, и я заявляю о готовности первым отдать все свое состояние, все свои средства на дело народного освобождения».

Этот пожилой, с иконописным лицом, старообрядческого типа и уклада человек говорил, обращаясь к собранию и поглаживая от волнения свою черную седеющую бороду. Своим заявлением он еще более закрепил настроение собравшихся.

Среди вчерашних еще обывателей, впервые теперь почувствовавших себя гражданами, произошел какой-то сдвиг. Раздался гром аплодисментов, послышались голоса: «идем на демонстрацию по городу».

Революционная демонстрация в Мезени.

В октябре на севере рано темнеет. Митинг происходил, примерно, в полдень; по окончании его чувствовалось наступление сумерек. Собравшиеся в Народном доме спешили соединиться с гражданами, окружавшими Народный дом, и, построившись колоннами в несколько рядов, с пением «Смело, товарищи, в ногу», пошли по улице. Как теперь помню, лица демонстрантов пылали радостью, глаза горели, люди слились в общем восторге, происходило, как казалось, единение всех, независимо от сословий и классов.

Демонстранты направились по главной улице, на которой находились все правительственные учреждения, в том числе почта, канцелярии исправника и т. д. Двое несли широкое красное полотнище, аршин шесть длиной, заменявшее собой знамя. По концам полотнища были прикреплены древки, которые и держали в своих руках ссыльные революционеры-мезенцы. Мне помнятся надписи на полотнище: «Да здравствует свобода!», «Слава павшим борцам за свободу!», и здесь же был призыв к борьбе с самодержавием, чуть ли не наш обычный в то время митинговый лозунг «Долой самодержавие!».

День был несколько хмурый, северный, падал небольшой снежок, быстро наступили сумерки. Демонстрация вышла очень внушительной для уездного городка. Демонстранты прошли по главной улице в оба конца и медленно стали расходиться, ссыльные же отправились всей гурьбой в свою столовую. Там мы узнали, что некоторые товарищи еще накануне получили телеграммы с поздравлениями по случаю освобождения. Некоторые телеграммы гласили: «Да здравствует демократическая республика»; «Хищное, кровавое самодержавие повержено», «Да здравствует революция» и т. п. Точно этих выражений не помню, но таков был смысл этих исторических телеграмм. В некоторых же телеграммах коротко сообщалось о манифесте, перечислялись об'явленные свободы, как свобода слова, печати, собраний, сообщалось о созыве государственной думы и проч. Все это передавал *правительственный телеграф*, вдруг освободившийся от полицейской цензуры. Может быть, некоторые телеграммы еще сохранились в архивах почтово-телеграфных контор.

В столовой мы узнали, что накануне митинга местными либеральными гражданами, по получении упомянутых телеграмм, был устроен банкет для ссыльных, на котором ссыльные, эти бывшие гонимые, 3-го разряда граждане, вполне легализовались и стали не только равными, но и почетными и желанными гостями банкетов и всяких собраний.

Живя в Мезени, газет мы еще не получали по случаю распутицы; подробностей происшедших в стране событий мы не знали. По кратким телеграфным сообщениям мы могли только догадываться, что произошло нечто совершенно исключительное. Но

произошло ли это в результате жестоких и кровопролитных боев и всеобщего восстания или громадной стачки, — мы не знали. Ничего, видимо, не знали также и местные власти. Известно было только, что исправник получил телеграмму об освобождении всех ссыльных и о возвращении их на родину или в места постоянного проживания.

Так как дороги через реки еще не установились, лед был еще непрочен, одновременная отправка всех ссыльных (которых было немало) по местным условиям была невозможна, то стали подбираться небольшие группы товарищей, которые в заранее определенные сроки должны были двинуться в путь.

Освобождение ссыльных.

На второй день после митинга мы были вызваны к исправнику. Это был сухощавый, седенький старичишка среднего роста, вероятно, из военных. С необыкновенным самообладанием, как будто это был самый обыкновенный циркуляр или приказ за исходящим и входящим №, этот старик об'явил, что все ссыльные свободны, могут отправляться куда угодно, что им будут выданы суточные и проездные до места постоянного жительства. Вся канцелярия исправника в лице всевозможных служащих была с ссыльными чрезвычайно предупредительна и вежлива. Чиновники быстро выдавали необходимые документы и справки, как бы признавая за ссыльными определенные государственные заслуги.

Между прочим, про этого старика-исправника у меня сохранилась в памяти такая любопытная подробность. Как оказывается, он еще летом 1905 года почувствовал, что революция берет верх, что полицейским порядкам не сегодня-завтра придет конец, а тогда придется оставить и службу, и он начал усердно учиться столярному ремеслу, чтобы иметь хоть какой-нибудь, в случае революции, заработок, хоть и физическим трудом. Об этом рассказывали его сослуживцы и жена, говорили об этом и вообще в городе, где такое обстоятельство, как обучение исправника столярному ремеслу, конечно, не могло пройти незамеченным.

Вспоминаю подробность, касающуюся некоторых т.т.: так как они не имели никаких средств, чтобы совершить самим обратное путешествие из ссылки, то деньги получали, но всякого рода документы и бумаги, которые выдавала им канцелярия исправника, они демонстративно рвали или бросали, и чиновникам приходилось уговаривать их взять с собой документы.

Ссыльных, собравшихся в Мезени, помнится, было человек сто. Прошло, примерно, не менее недели или даже десяти дней, пока вся ссылка не раз'ехалась. Ехали мы все с большим воодушевлением и радостными надеждами на будущее. Везли нас казенные подводы до Архангельска, и это продолжалось более недели. Дорогой мы вели бесконечные беседы и споры, но, в об-

щем, нам всем рисовались огромные возможности революционной работы с небывалым размахом. Мы мечтали о наиболее целесообразном использовании об'явленных царским манифестом свобод и ни у кого из нас не было тогда сомнения — да существуют ли у нас в действительности эти свободы, раз царская власть еще существует?

В Архангельске после погрома.

Не доехали мы еще до Холмогор, этак верстах в 60-ти от Архангельска, как нам встретились возвращавшиеся из Архангельска мезенцы, торговцы, чиновники, которые сообщили нам, что в Архангельске только что произошел, никогда еще не бывавший там, черносотенный погром с избиением и даже убийствами более видных революционеров, и что при погроме старый социал-демократ профессор-химик был зверски убит черносотенцами.

Дело рисовалось таким образом. С одной стороны,—была ставшая уже обычным делом революционная демонстрация, а с другой стороны, была организована вооруженная черносотенная манифестация с лозунгами «за веру, царя и отечество». Произошло столкновение, было убито и ранено несколько человек, в том числе и упомянутый профессор. После столкновения раздались призывы бить евреев (хотя их на севере вообще очень мало), студентов и ссыльных. А дальше начали громить магазины, ломать двери, разбивать вещи и грабить наиболее ценное.

Рассказы о погроме сильно нас отрезвили и заставили перенести наше пылкое воображение с заоблачной выси на реальную грешную землю. Погром показал, что борьба действительно не закончена, самодержавие не побеждено, а только сделало маневр, чтобы обойти широко разлившееся революционное движение,— попросту обмануть и выиграть время, дезорганизовать массы, а потом показать силу пулемета, штыка и пуля.

Опечаленные, обозленные приехали мы в Архангельск. Жертвы погрома были уже похоронены, но следы погрома были еще заметны. Погромная волна шла на убыль, и царское правительство, помнится, даже издало приказ о противодействии погромам.

Приехав в город, мы жадно набросились на газеты, и тут мы узнали, что погромы пронесли почти по всем сколько-нибудь значительным городам и наиболее населенным местечкам. Было ясно, что погромы не носили эпизодического характера, а производились по какому-то заранее разработанному плану.

В Архангельске нам пришлось пробыть три дня. За это время мы повидались с товарищами, поддерживавшими связи с большими городами, и потому были в курсе происходивших событий и борьбы, предшествовавшей изданию манифеста 17 октября.

Враг не был побежден, это было ясно, но мы не падали духом, и бодрые, уверенные в окончательной победе, запаслись в дорогу

начками газет и всевозможной литературой, которой теперь уже никто и не думал скрывать, раз'ехались по родным местам.

Известно, что у некоторых людей никакие события не оказывают влияния на их личной жизни. Была эта личная жизнь и у парочки наших товарищей по ссылке: для оформления совместного жительства решили они выполнить некоторые формальности. Молодой человек и девушка, приехав в Архангельск, решили пожениться. Оба они были евреи. Оформление это должно было произойти в синагоге или в доме правоверного еврея, для чего необходимы были свидетели. Но знакомых евреев в Архангельске у брачующихся не оказалось; тогда они обратились к одному из ивановцев, возвращавшемуся из ссылки, тов. Кузнецову, который согласился изобразить в этом оформлении свидетеля-еврея и отправился вместе с женихом и невестой. Подделываться под настоящего еврея ему было трудно, так как он не знал еврейского языка. Тогда он заявил, что он еврей, но говорит только по-русски. Раввин, вероятно, догадался, что это фиктивный свидетель, но риск потерять заработок заставил его не быть строгим формалистом, и церемония благополучно была доведена до конца при явной снисходительности раввина к новобранцам и их свидетелю.

Возвращение в Иваново-Вознесенск и настроения после погрома.

Под'езжая дня через два, после утомительного в общем переезда, к Иваново-Вознесенску, я услышал кошмарные рассказы о том, что черносотенцы, при явном попустительстве власти и даже участии казаков и полиции, устроили и в этом городе погром. Я стал задавать вопросы, кого же там громили? Евреев в городе почти не было. Я помню, был Ершке, часовой мастер, и популярный врач Бродский. Больше никаких евреев в Иваново я не знал, а погромы и в 1905 г. в огромном большинстве шли под видом противоеврейских. Тут я получил ответ, что громили не евреев, а «люцинеров», «ипутатов»; так называла моя собеседница, простая женщина, членов Совета Рабочих Депутатов и товарищей, известных в Иваново-Вознесенске по революционному движению. Оказалось, что рабочих депутатов сбрасывали с верхних этажей фабричных корпусов, — а там немало их четырех-пятиэтажных, — топили в реке, избивали до полусмерти, проламывали головы. «Теперь всех депутатов, — говорили мне, — разогнали и в Иваново-Вознесенске все успокоилось». Это рассказывала мне та же простая женщина, крестьянка. Я слышал в этом рассказе явное сочувствие погрому. Оказалось, что забастовка, руко одимая местным советом и парторганизацией, была необычайно упорна, длилась около трех месяцев и до крайности истощила рабочие семьи. Было много случаев заболеваний и смертей, были случаи, когда товарищи брали у той или иной крестьянки картофель, молоко и не расплачивались. Последнее создавало большое недовольство и раздражение против заба-

стовщиков среди крестьян и особенно крестьянок, тем более, что и политические цели забастовки и рабочего движения в большинстве крестьянами не были поняты.

Я приехал в Иваново-Вознесенск очень скоро после закончившегося погрома. Пострадали все наиболее видные и преданные революции старые товарищи по организации и революционному движению. Многие партийные товарищи и члены местного совета принуждены были скрываться, расселяясь по далеким деревням, многие вовсе переехали в другие города. Хотя общий погром, повторяю, считался уже законченным, но отдельные группы громил все еще устраивали нападения на революционных рабочих и поддерживали в городе и на окрестных фабриках весьма напряженное настроение.

У меня было такое впечатление, точно в воздухе висел новый погром, да и каждый революционер вполне ощущал эти погромные настроения. Они ясны были в местной черносотенной, а по временам и в просто обывательской среде.

Я помню еще в первые дни после моего приезда из ссылки пришла однажды из города моя мать, здравствующая и поныне, и сообщила, что у Кузнецовых в лавке собралось несколько человек, которые вели между тобой тут же, при участии хозяина лавки и в присутствии моей матери, примерно такой разговор: «Надо точить ножи, топоры, готовить вилы, надо резать, рубить, колоть революционную нечисть»... «Надо уничтожить революционеров и безбожников. Будет им, побаловались во время стачки, теперь наступило другое время, и мы должны сделать так, чтобы в другой раз бунтовщикам неповадно было».

Должен сказать, что в то время в городе было немало весьма активных добровольцев по ловле депутатов и социалистов, а сочувствующих этим добровольцам и помогавших им было сколько угодно.

Задерживали и обыскивали на улице первого попавшегося сколько-нибудь подозрительного человека. Иногда производились обыски по домам, искали переписку, литературу, оружие, людей, непрописанных в полиции, а не то принимались проверять, есть ли у встречного на груди крест. Особенно долго все эти насилия и безобразия держались в районе железнодорожной станции, где ютились вообще черносотенные банды и одураченные черносотенными агитаторами труженики-крючники. Много на совети этих забитых людей лежит убийств, увечий и всевозможных издевательств и оскорблений революционеров. Убили Афанасьева - «отца», убили Кирякина, Генкину, не считая убитых беспартийных депутатов, но всего этого оказалось «им» мало: черносотенные толпы были ненасытны, и положение в городе было жуткое. Небезопасно было даже днем выходить на улицу.

Партийные товарищи, которых знали в городе по их выступлениям или даже только по слухам, по обыскам и арестам, или просто по знакомствам и дружбе их с известными партийцами, были на положении затравленных зверей. Только постепенно,

сравнительно нескоро, когда черносотенцы и обыватели убедились, что революционное движение не гложет и от погрома не останавливается, что забастовки охватывают огромные районы, а во многих местах происходят вооруженные демонстрации и даже восстания, черносотенцы и полиция несколько умерили свой пыл, и жизнь стала принимать нормальный характер.

Новые формы борьбы.

Партийцы, разумеется, были загнаны в подполье. В подполье ушла и вся партийная жизнь, все революционные организации. Более или менее легальные собрания и митинги удавалось устраивать лишь у фабричных ворот и то лишь изредка и, по возможности, внезапно, при самой конспиративной подготовке. Обычно же собрания происходили за городом, где-нибудь в поле или в лесу, и не были многолюдны. Партийные собрания, иногда с участием непартийных, происходили только на законспирированных квартирах.

Открытые летучие митинги, при создавшихся в Иваново-Вознесенске после погрома условиях, были почти невозможны; выступавших ораторов легко могли тут же убить или изуродовать и лишь «в лучшем случае» отправить в полицию.

Стали усердствовать и выжимать копейку и фабриканты. После разгрома, избиений, убийств депутатов и революционных рабочих фабриканты усиленно стали возвращать потерянное ими во время стачек. Начались всякие прижимы. Понижена была заработная плата, ухудшены условия труда, усилена браковка товаров, чрезвычайно увеличились штрафы за браковку и за всякого рода оплошности и нарушения, усилились грубость, слезка, всевозможные придирки, доносы, словом, были пущены в ход все средства, которые в таком изобилии имеются в руках фабричной администрации.

Атмосфера была невыносима.

Местный Комитет партии решил произвести попытку организации ряда митингов по текущему моменту в местах наибольшего скопления рабочих. Для защиты и охраны их от черносотенных банд и всевозможных ипщек решено было посылать боевые дружины.

Боевые дружины имелись в то время повсеместно при всех партийных организациях России. Была такая дружина и в Иваново-Вознесенске. Ее-то и было решено направлять в места собраний рабочих и на общие митинги для действительной охраны этих собраний от черносотенцев и от действий всякого рода агентов полиции и жандармерии.

Приближалась новая борьба.

Это был уже новый момент в развитии революционного движения, когда боевые дружины начали играть весьма значительную роль в последующих этапах развития революции, так как это были ударные кадры в местах начавшегося восстания.

Столетие декабрьского восстания 1825 г.

Вл. Виленский-(Сибиряков.)

Декабристы разбудили Герцена.

Сто лет—срок не малый. Много за это время успела пережить Россия. Она успела не только сбросить царизм, но и шагнуть далеко по путям утверждения власти трудящихся. Из бывшей Российской Империи она превратилась в Союз Советских Социалистических Республик. Тем больше у нас оснований оглянуться на прошлое русского революционного движения и вспомнить о тех, кто был застрельщиками в деле революционной борьбы с царизмом.

А такими застрельщиками были «декабристы»—те, кто 14 декабря 1825 года вышли на Сенатскую площадь, направив свое оружие против самодержавия; те, кто несколько позднее, подняли на вооруженное восстание солдат Черниговского полка на юге России—во имя превращения монархической России в республику.

Декабрьское выступление 1825 года против царизма оставило глубокий след в последующем развитии революционных идей в России. «Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию. Ее подхватили, расширили, укрепили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями «Народной Воли». Шире стал круг борцов, ближе их связь с народом. «Молодые штурманы будущей бури»,—звал их Герцен. Но это не была еще буря. Буря—это движение самих масс. Пролетариат, единственный, до конца революционный класс, поднялся во главе их и впервые поднял к открытой революционной борьбе миллионы крестьян. Первый патисс бури был в 1905 году».

Таково место декабристов в истории русского революционного движения по Ленину. Они разбудили Герцена... С них началось революционное движение против царизма.

Но кто же такие были декабристы, и почему их революционная попытка окончилась неудачей?

* * *

Декабристы, руководители восстания, вышли из среды дворянства. Но на ряду с этими представителями дворянства, игравшими руководящую роль

в движении, мы знаем солдат-декабристов, которые были подняты на восстание... Правда, роль солдатской массы в восстании 1825 года до сих пор остается неясной и недостаточно изученной, ибо историки до сего времени больше интересовались вождями и героями декабризма, а не его солдатами-бойцами.

Между тем, эти солдатские массы, увлеченные на Сенатскую площадь и восставшие на юге России (Черниговский полк) заслуживают большего внимания. Эти солдаты являлись представителями многомиллионных толщ русского крестьянства, эксплуатацией которого жила монархическая Россия, опиравшаяся на крепостное хозяйство. Участие солдат в декабрьском восстании 1825 года больше всего страшило Николая I и его приближенных. Да не только Николая I, оно страшило и многих из самих декабристов, которые не могли не понимать, что участие солдат в восстании на ряду с идеями, лежащими в основе теоретических планов декабристских тайных обществ, выводило движение декабристов далеко за пределы старых гвардейских дворцовых переворотов и приближало его к революции.

Но если оставить солдатские массы и обратиться к вожакам декабризма, к представителям дворянства, то и здесь мы найдем далеко не однородную массу. Здесь есть представители родовитого дворянства, вроде князя Трубецкого, но на ряду с этим мы найдем тут и представителей мелкопоместного и служилого дворянства. Для того, чтобы понять причины, побудившие декабристов-дворян встать на путь революционного движения, нужно посмотреть на то, чем была Россия сто лет тому назад.

* * *

Россия начала XIX века была самодержавной монархией, опиравшейся на крепостное хозяйство. Но это был переломный момент для старой России. Старые устои самодержавно-крепостнического порядка подтачивались развитием промышленного и аграрного капитализма. С одной стороны,—мировой рынок притягивал к себе Россию и держал ее под своим непосредственным влиянием. С другой,—под влиянием того же мирового рынка, а равно и растущего внутреннего спроса, начала нарождаться русская промышленность. В 1808 году в России была основана первая частная бумагопрядильня, а в 1812 году таких фабрик было уже 11. Писчебумажных фабрик в 1780 г. было 25, а в 1814 г.—74. Рос также вывоз русского хлеба на мировой рынок. Это создавало предпосылки для развития торгового земледелия, что не могло не внести многих новых моментов в общий хозяйственный уклад России.

Под влиянием этих хозяйственных изменений, изменялись и политические настроения в царской России. Даже среди дворянства стали появляться сторонники гражданской и политической свободы. Это была заря русского либерализма, который мечтал о реформации России, под непосредственным влиянием идей Великой Французской Революции 1789—99 г.г.

Одно время, в начале царствования Александра I, либерализм готовился было торжествовать победу и уже обсуждал планы т. н. либеральных реформ, которые находили одобрение самого царя. Но это было недолго. Победила политическая реакция, которая не только поставила крест над либеральными мечтаниями, но и крепко замкнула Россию замком аракчеевщины.

Однако, если эта реакция пресекла вольнодумие отцов, то для молодого подрастающего поколения она не смогла быть преградой. Побывав в зарубежных походах 1813—15 г.г. и, получив возможность сравнить русскую действительность с пореволюционной, западно-европейской, — офицерская молодежь — эти будущие декабристы — полнее и глубже своих отцов пережили идеи свободы и равенства и были решительнее в смысле постановки вопросов, касающихся возможностей практического осуществления этих идей.

Отсюда берут свое начало тайные общества и кружки, в которых объединяется офицерская молодежь, с целью социально-политического обновления России. Сначала это движение находит себе место в т. н. «масонских ложах», позднее оно получает более четкие организационные формы в виде самостоятельных политических обществ — «Союза Спасения», организованного в 1816—17 гг., и «Союза Благоденствия», который, образовавшись в 1818—21 гг., окончательно порывает с масонством.

Усиление реакции и начало революционных выступлений в Испании и Италии производит расслоение среди русской молодежи, группирующейся в тайных обществах. Более репетительная и революционно настроенная часть выдвигает задачи революционного действия. Менее активная часть настаивает на доверии к царю и мирном характере преобразования России. Результатом этого раскола является закрытие «Союза Благоденствия» и возникновение двух новых революционных организаций: Северного и Южного Обществ. образование которых относится к 1821 году.

* * *

Северное Общество образовалось вместо «Союза Благоденствия» на севере, в Петербурге. Оно объединяло в своей среде наиболее обеспеченных, родовитых и образованных представителей дворянской молодежи. В его состав входили талантливый поэт Кондратий Рылеев и братья Муравьевы. Но это общество не выработало единой программы и тактики и вместе с тем отличалось более умеренными взглядами и, почти до самого восстания на Сенатской площади, не проявило особенной энергии. Идейным вождем Северного Общества был Никита Муравьев.

Никита Муравьев является автором проекта конституции, по которой Россия должна была явиться федеративной ограниченной монархией. По этой конституции вся Россия делится на 13—15 областей («держав»). Каждая из этих «держав» имеет свой законодательный орган для решения своих областных дел, в которых «державы» независимы. Для решения обще-русских дел «державы» образуют федерацию. В этой федерации законодательная власть принадлежит «Народному вечу». Вече состоит из двух палат: «Верховной Думы» и «Палаты Представителей». Члены «Верховной Думы» избираются в правительствующих Собраниях держав, составляющих федерацию. Члены «Палаты Представителей» избираются населением, имеющим известный имущественный ценз.

В земельном вопросе Никита Муравьев выдвигал план освобождения крестьян с землею, но малым земельным наделом. «Помещичьи крестьяне, — по его проекту, — получают в свою собственность дворы, в которых они живут, скот и сельскохозяйственные орудия, в оных находящиеся, и по две десятины земли

на каждый двор для оседлости. Землю они обрабатывают по договорам обобщинным, которые они заключают с владельцами оных».

Никита Муравьев в своем проекте во главе исполнительной власти оставил императора. Отсюда проистекала неудовлетворенность его проектом со стороны менее зажиточных и менее родовитых дворян-офицеров, группировавшихся на юге вокруг Пестеля.

* * *

Руководитель Южного Общества, полковник Пестель, был замечательной личностью своего времени. Сын Сибирского генерал-губернатора, Пестель в 1813—14 гг. побывал с русской армией за границей. В Россию он вернулся сложившимся революционером. Начальство очень ценило способности Пестеля. Князь Витгейнштейн, главнокомандующий южной армией, у которого Пестель был начальником штаба, говорил про него: «годится на все: дай ему командовать армией или сделай каким хочешь министром, везде будет на месте».

Но Пестель решил отдать свои силы на дело реорганизации России. Он встал в ряды будущих декабристов и сделался признанным руководителем наиболее радикально настроенной части общества; ставившего задачи превращения России из монархии в Республику.

Пестель изложил свои планы в т. н. «Русской Правде». Он—противник федерализма,—выдвигал план преобразования России в централизованную Республику. Исключение он делал для Польши, которая, по его плану, могла быть самостоятельной республикой, связанной с Россией специальным договором. Законодательная власть должна была принадлежать «Народному Вечу», избираемому на 5 лет и состоящему из одной палаты. Власть исполнительная—«Державная Дума» (в числе пяти человек) избирается всем населением, сроком на пять лет. Выборы всеобщие, и без ценза. За точным исполнением основных законов следит т. н. «Верховный Собор» из 120 человек. Правительство состоит из десяти министров. Осуществление нового государственного порядка Пестель предполагал возложить на «Временное Верховное Правление».

Земельный вопрос Пестель также разрешал радикально. Он считал, что каждый житель имеет право на участок земли. Он за отмену крепостничества и за безвозмездное принудительное отчуждение помещичьих земель. По его проекту, все земли, в каждой волости, пужно разделить на две равные части, из которых «одну отдать, под названием общественной земли, в собственность волостному обществу, а другую, под названием казенной, оставить собственностью казны, входящей в состав государственных имуществ».

Таким образом, вместо нищенского надела Никиты Муравьева, Пестель выдвигает программу, которая может быть охарактеризована как национализация земли. Неудивительно поэтому, что т. М. Н. Покровский, говоря об аграрной программе Пестеля, дает ей такую оценку: «Аграрная программа декабристов,—пишет т. М. Н. Покровский,—является стержнем, проходящим через всю историю нашего революционного движения, вплоть до 1917 г., когда был опубликован Декрет Совета Народных Комиссаров о земле; мы все идем от аграрной программы Пестеля».

Имея столь существенные расхождения в программах, Северное и Южное Общества, однако, сходились в общем стремлении достигнуть поставленные перед собою задачи преобразования России при помощи военного переворота, без активного содействия народных масс. Находясь под впечатлением военных революций двадцатых годов XIX века в Испании и Италии, будущие декабристы строили свои планы применительно к возможностям использования солдат, которыми они командовали, но они почти не ставили себе задачей разъяснения этим солдатам своих целей и стремлений.

Более выгодно в этом отношении отличалась группа небогатых офицеров, примкнувших, незадолго до восстания, к Южному Обществу, которая носила название «Общества Соединенных Славян». Эта группа ставила своей целью подготовку республиканской федерации всех славянских народов. В своей революционной работе она вела пропаганду среди солдат и вообще стремилась опереться на широкие народные массы. Этой группе пришлось сыграть особо революционную роль в восстании Черниговского полка, которое новейшими историками не без основания рассматривается как подлинное вооруженное восстание солдатской массы против самодержавия.

* *
*

У декабристов было несколько проектов выступления. Но неожиданная смерть Александра I ускорила развязку и толкнула на выступление в Петербурге наиболее умеренную часть декабристов Северного Общества.

Случилось так, что после смерти Александра I оказалось неопубликованное отречение от престола его брата Константина, что создало неясность в вопросе, кто должен вступить на престол: Константин или Николай I? Создалась полоса междоусобия, когда эти два претендента взаимно присягали друг другу, и в то же время каждый из них хотел сделаться парем. Декабристы решили использовать нелюбовь солдат к Николаю I и выступить с оружием в руках в момент присяги ему, 14 декабря.

Братьям Вестужевым удалось увлечь за собою на Сенатскую площадь солдат Московского полка, к которому присоединились часть морского экипажа и три роты лейб-гренадеров. План восставших сводился к следующему: они захватывают Сенат, убивают Николая I и принуждают Сенат провозгласить новый порядок государственного устройства России. В качестве диктатора был намечен князь Трубецкой.

Однако, среди декабристов нашелся предатель, который накануне поставил в известность Николая I о заговоре. Николай I принял меры и собрал сенаторов у себя во дворце, а восставшим попытался противупоставить верных себе солдат. Правда, таких солдат у него оказалось мало, но восставшие не обнаружили нужной для революционеров предприимчивости. Диктатор, князь Трубецкой, на Сенатскую площадь совсем не явился. Восставшие простояли почти целый день на Сенатской площади и своей пассивностью помогли Николаю I собрать некоторые из верных ему войск. А затем, когда один из генералов посоветовал Николаю I обстрелять повстанцев артиллерийским огнем, последние должны были очистить Сенатскую площадь. Восстание было подавлено.

Пестель был арестован в Тульчине, накануне петербургского восстания, 13 декабря. После восстания последовали аресты других членов Южного

Общества. На этой почве, а равно под влиянием агитации среди солдат—членов группы «Общества Соединенных Славян», на юге вспыхнуло восстание Черниговского полка, который освободил арестованного Сергея Муравьева-Апостола и начал продвигаться к ближайшим военным центрам, в расчете поднять их на восстание.

Однако, надежды повстанцев и здесь не оправдались, и они, встреченные собранными правительством войсками, были разгромлены.

Опираясь на отсталое дворянское большинство, Николай I учинил кровавую расправу над повстанцами. Он сам допрашивал декабристов, и инсценировал первый большой политический процесс; из 121 обвиняемых пять человек были повешены: Пестель, Рылеев, Сергей Муравьев, Бестужев-Рюмин и Каховский. Остальные были осуждены и сосланы на разные сроки в каторжные работы и сибирскую ссылку.

Выступая в роли палача, Николай I мстил декабристам за тот животный страх, который пришлось ему пережить накануне и в день 14 декабря. В планы декабристов, на ряду с восстанием, входило также и убийство Николая I. Это должен был сделать Каховский. Он застрелил графа Милорадовича и полковника Стюрлера и ранил кинжалом свитского офицера.

«Друзья 14 декабря» отравили Николаю начало его царствования, и он всю свою жизнь должен был опасаться их и наблюдать за ними, когда они, находясь в сибирских рудниках и ссылке, казалось, были совсем обезврежены.

*
*
*

Долгие годы провели декабристы в Сибири. Из 116 осужденных декабристов только 29 человек получили амнистию после смерти Николая I, в 1856 г.; об остальных сохранилась память, лишь по тем скромным могилам, которые разбросаны по всей Сибири.

Как первые русские политические каторжане и ссыльные, декабристы оставили глубокий след в истории русской политической каторги и ссылки. Русская общественность и, в особенности, сибирское население хранит светлую память о декабристах еще и потому, что они много отдали своих сил на дело просвещения населения тех мест, где им пришлось быть невольными обитателями. В этом отношении последующие поколения политических каторжан и ссыльных шли по путям декабристов и во многих случаях являлись их продолжателями.

Четверть века тому назад, Г. В. Плеханов, отмечая 75-летнюю годовщину декабрьского восстания 1825 года, писал: «Много жертв принесено делу освобождения народа, но имена Павла Пестеля, Кондратия Рылеева, Сергея Муравьева-Апостола, Петра Каховского и Михаила Бестужева-Рюмина останутся в нашей памяти, как имена первых из наших многочисленных мучеников, заплативших жизнью за революционные стремления».

Длинный путь прошла русская революция от декабристов до октябрьского восстания 1917 года; много поколений принимало участие в накоплении идей и сил русской революции, и сейчас вряд ли можно отрицать ту роль и значение декабристов, которые им принадлежат по праву первых застрельщиков борьбы с царизмом.

На героическом примере декабристов воспеывались поколения русских революционеров. О декабристах не раз писал В. И. Ленин.

«В 1825 году,—писал он,—Россия впервые видела революционное движение против царизма, и это движение представлено исключительно дворянами. С того момента и до 1881 года, когда Александр II был убит террористами, во главе движения стояли интеллигенты из среднего сословия. Они проявили величайшее самопожертвование, и своим героическим террористическим методом борьбы вызвали удивление всего мира. Несомненно, эти жертвы пали не напрасно, несомненно, они способствовали—прямо или косвенно—последующему революционному воспитанию русского народа. Но своей непосредственной цели пробуждения народной революции они не достигли и не могли достигнуть. Это удалось только революционной борьбе пролетариата. Только волна массовой стачки, прокатившейся по всей стране, в связи с жестокими уроками империалистической русско-японской войны, пробудила широкие массы крестьянства от летаргического сна».

Это была революция 1905 года, двадцатилетие которой исполнилось в этом году.

Декабристы были теми, кто сто лет тому назад высек первую революционную искру, из которой позднее ярко разгорелось пламя русской победоносной революции,—в этом их историческая заслуга.

В. И. В И Л Е Н С К И Й - (С И В И Р Я К О В).

Сдвиги и достижения в области изобразительных искусств.

Ф. Рогинская.

Первый порыв революции очень скоро определил судьбы центральных руководящих художественных объединений.

«Мир Искусств» со своим тонким, углубленным ретроспективизмом оказался по ту сторону черты. Его мастера жили почти мистической любовью и поэтизацией умершего помещичьего быта. Крушение этого быта определило гибель «Мира Искусств», как направления, и увлекло его в глубь истории. Персонально почти все члены «Мира Искусств» оказались за границей. «Вубновый Валет» после непродолжительного периода тоже оформился, как группа, стоящая в стороне от главного течения. Отгородившись непроницаемой стеной от бурления современности, эти художники углубились в разрешение формальных задач, выдвинутых французами. Из бунтарской молодежи, шокировавшей когда-то «Мир Искусств» своим варваризмом, они выросли в зрелых мастеров (Машков, Кончаловский). Но мастерство их натюрмортов и обнаженных тел повисло без почвы, не затрагивало нерва жизни.

Таким образом, руководящие объединения центра были отмечены от главного русла. В то же время средний, массовый художник оказался разомкнутым от центра и захваченным и увлеченным, в первую очередь, широким разливом декоративно-плакатной полосы. Все дальнейшие сдвиги в области изобразительных искусств определяются уже не столичными группировками—те только находят им выражение,—а именно этим средним массовым художником. В этом значительность происшедших сдвигов.

От периода, ознаменовавшегося основной ломкой, основной переоценкой, в соединении с напряженной объективной обстановкой, трудно ожидать монументальных, вещественных достижений. Самый факт сдвигов, наметивших правильное направление дальнейшего хода развития, должен оцениваться, как крупнейший результат революции.

1. Плакат.

И у нас, и на Западе за плакатами признавалась прежде ценность только коммерческой рекламы. Революция определила и выдвинула его новое значение. Стало несомненным, что плакат имеет самую животрепещущую связь

е наиболее острыми задачами современности, а, уходя в прошлое, превращается в ценнейший документальный материал. Простой тематический подсчет одних только плакатов за определенный период может выявить наиболее «ударные» моменты этого периода.

Начало революции ознаменовалось огромной потребностью в плакатной работе. Весь наличный состав художников, до самых отдаленных окраин, оказался к ней привлеченным. Если прибавить всегда лихорадочную поспешность работы и полную к ней неподготовленность большинства художников, станет ясным, что низкий художественный уровень этой полосы был неизбежен. В последние годы острая потребность в плакате спала. Большинство художников отхлынуло к другим отраслям изобразительных искусств. Плакату остался верен только небольшой круг художников и только тогда, в сущности, началась настоящая углубленная над ним работа.

Выставка плаката и 2-ая отчетная выставка книжной палаты (лето 1924 года) подводят итоги этой работе. Чтобы уяснить путь развития плаката, следует отметить, что боевые и общие темы первого периода уступили место другим, устремленным к мирному строительству. Эволюция *тематическая* повлекла за собой создание нескольких типов плаката и определила эволюцию формальную.

Плакату, в строгом смысле слова, воздействие которого должно создать *немосредственный* эффект—патетический, грозный и т. д.,—соответствуют 2 линии развития: плоскостная, графическая, и пространственная, живописного уклона. Об абсолютной ценности той или иной линии говорить не приходится. Она определяется целью, поставленной художником. Напр., потрясающий плакат Моора «Помоги» (голодающий с протянутыми руками), если бы его взяли в живописном уклоне, потерял бы свою углубленную трагичность. Только благодаря аскетической бедности графических приемов, его воздействие достигает такой концентрированной силы. В то же время есть *темы*, для которых живописно-пространственные приемы представляют больше возможностей. Не случайно, например, что почти все плакаты ОДВФ взяты в живописном разрезе. Их убедительность—в колоритном воздействии сизолиловой гаммы, в жутком металлическом блеске. Эволюция последнего времени указывает как-будто на преобладание упрощенного, плоскостного типа плаката, представляющего одну фигуру максимальной выразительности. Трактовка—силуэтного или почти силуэтного характера (плакаты к пере-выборам в совет). Такой плакат запоминается сразу—сквозь окно трамвая, при переходе с одной стороны улицы на другую и т. д. Потому он наиболее приемлем для большого города.

В обоих направлениях мы встречаем уже достижения, исполненные зрелого мастерства, где полное овладение законами специфически-плакатной композиции направлено для согласования с теми агитационными задачами, которые перед плакатом поставлены. В этом согласовании их большая художественная ценность.

Другая разновидность плаката характерна больше для деревни. Хотя она существует уже давно, но приобретает в последнее время все большую область применения.

Она является совершенно своеобразной, специфически-русской.

Ее корни—народный лубок. Плакаты этого типа представляют таблицы с последовательным рядом отдельных картинок-эпизодов, относящихся к одному вопросу. Объединенные общим текстом, они представляют промежуточную группу между плакатом и иллюстрацией. Их развитие—результат перехода к мирному строительству. Их темы—вопросы сельского хозяйства, займы, налоги, быт и т. д. Содержание такого плаката выясняется по мере прочтения. Его рассматривают вблизи, и, в противоположность монументальному плакату, *деталь* приобретает здесь очень существенное значение. Их авторам необходимы знание местного быта и юмор. Карикатура—их частый прием. И в этой области, несмотря на ее большие трудности, есть уже сейчас превосходные достижения (напр., изд. «Красн. Новью» плакат для общегражданского налога). Таковы сдвиги в области плаката. То соображение, что работа над ним находится в руках уже квалифицировавшихся кадров художников, всецело проникнутых его задачами, дает все основания ожидать дальнейшего продвижения.

Кроме того, плакату не угрожает опасность замкнуться в застывшие формы. Массовый обхват первого периода приобщил к плакатной работе самые отдаленные провинции. Выставки очень убедительно продемонстрировали, что провинции выделили своих специалистов, нимало не отстающих от центра (Д.-В. Р., Ростов, Украина и т. д.). Поэтому плакат имеет возможность непрерывно окрашиваться в живой, локальный, бытовой тон.

III. Искусство в производстве.

Полоса декоративно-плакатная взбороздила огромное, пребывавшее до тех пор в спячке, поле русской живописи. Ее результатом явилась *массовая* переоценка вопроса о целях и задачах художественной работы. Художник, столкнувшийся вплотную с биением жизни, почувствовавший реальную возможность своего тесного с ней сотрудничества, не желал возвращаться в тихие заводы станковизма, в уютную тень натюрмортов и «головок». Вот почему лозунг «производственное искусство» нашел такой широкий отклик. Он был выброшен лефами (футуристами, конструктивистами и т. д.), когда клич «все на фронт труда» несся по просторам только что вздохнувшей после гражданской войны страны. Материальное строительство жизни было боевой, ударной задачей. Конструктивизм обещал возможность участия в процессе этого строительства и художникам, начиная от создания новых вещей вплоть до организации производства в целом. Естественно, что он оказался магнитом мощной притягательной силы.

На содержании термина «*производственное искусство*» в понимании левых придется несколько остановиться. Он был выдвинут в противовес преждему *прикладному*. Со старым прикладничеством связано представление о кустарных по-преимуществу приемах *украшения* предмета для *облегчения быта*. Не задаваясь художественными задачами, прикладники шли по линии наименьшего сопротивления—потакали уже сложившемуся массовому вкусу и его стремлению гнаться за модой дня. Но средний массовый вкус создался под длительным влиянием дешевых перефразировок заграничных изделий. Качество материала при массовом сбыте приходилось возмещать излишней пестротой или другими приемами, меньше всего имевшими

в виду художественные задачи. Представление о прикладничестве ассоциировалось поэтому с неправильным применением принципа украшения. В этом причина того полного отрицания украшения, с которого начинают сторонники производственного искусства. Его содержание—*в создании новых вещей по принципу максимальной рациональности*. Красота вещи именно и должна заключаться в рациональности конструкции. При этом имеется в виду фабричное производство вещей, в процессе которого «художники уже теперь могли бы с успехом заменить инженеров»,—по мнению Б. Кушнера.

Таким образом, центр тяжести переносится из области специфически художественной в инженерно-техническую. Но художники не имели никакой подготовки к инженерно-технической работе и очень скоро убедились в невозможности практического осуществления своих задач. Однако, именно жажда практического участия в производстве привела художников в лоно левых. Не видя возможности ни реорганизовать производство, ни создавать новые типы вещей, художникам пришлось пойти в разрез с официальной линией конструктивизма и ограничиться той же областью, что и прикладники, т. е. областью украшения. Разница заключалась только в подходе. Прикладники, базируясь на спросе, исходили от *потребителя* продукции. И в этом были правы. Плохо было то, что они брали художественный уровень потребителя таким, каков он есть, не стремясь сквозь наслоение фальсификаций проглядеть подлинные художественные устремления и возможности. Художественная пассивность и халатность—вот в чем их дефект.

Художники-производственники, наоборот, совершенно игнорировали потребителя. Их цель—найти абстрактные и абсолютные законы и методы украшения, на началах математической согласованности. В этом объяснение обилия изысканий в области цвета, фактуры (разработка поверхности), формы. В годы расцвета конструктивизма они несколько затемняли фактическую работу, которая велась под их прикрытием. Сейчас представляется возможность подвести ей итоги.

Если историческое значение конструктивизма заключается в во-время выброшенном лозунге, то его фактический вес составляет именно эта работа, проведенная в противоречии с его теоретическими обоснованиями.

III. Искусство книги. Фото-монтаж.

Книжная обложка прошлого исходила от графики (конечно, и книжная заставка, концовка и все оформление книги). Она была построена на тончайших эффектах линий, изысканная прелесть которых постигается не сразу и растет по мере любовного созерцания. Целый ряд графиков «Мира Искусств» дали в своем роде классические образцы такого типа книжного оформления. Но если взять *среднюю* обложку предшествовавшего революции периода, картина получится несколько другая. Обложки многочисленных романов представляли смешение утомленной эротики Обри Вердслея с институтской жеманностью Мисс, нечто на грани утонченности и пошлости, с значительным перегибом в сторону последней. Цель квалифицированных мастеров графической обложки—создание единства декоративного оформления книги с ее духом—претворяется здесь в наивное подчеркивание эротических проблем романа, в надежде заинтересовать покупателя.

Выставки прошедшего года (1924 года)—«5 лет Госиздата» и «2-ая отчетная выставка книжной палаты»—а также статьи в «Лефе» дают возможность уяснить существенный сдвиг в области книжной обложки.

Старый углубленный эстетизм совершенно раздавлен набегом молодых художников. Разрешение вопроса передвинулось на другие рельсы, под несомненным влиянием плакатной работы. Определились: 1) необходимость яркого декоративного пятна, бросающегося в глаза издали и заставляющего остановиться—задача по существу рекламного характера, и 2) необходимость соответствия не столько духу книги, сколько пониманию читателя, на которого она рассчитана (т.-е. одна и та же книга, в зависимости от потребителя, должна иметь разное оформление).

Оба эти положения живые, жизненные. Но поскольку первый пункт находил чисто стихийное и широкое применение, настолько второй оставался кабинетным, почти без реального воплощения. Этим об'ясняется исключительно формальное развитие так называемого «конструктивного» стиля.

Если прежде воздействие художника было основано на линии, в настоящий момент оно целиком сосредоточилось в колористических контрастах, в воздействии геометрических плоскостей, густо окрашенных одним основным цветом. Новизна и своеобразность такой обложки была настолько очевидна, что выражение «новый» или «конструктивный» стиль стало вполне конкретным. Ему соответствуют несколько наиболее характерных типов орнаментации, например, изменение цвета букв текста в зависимости от той красочной среды, в которую они попадают.

Эти приемы получили самое широкое распространение, перенеслись на рекламы, афиши, фабричные марки, товарные клейма и т. д. Даже об'явления об уроках или продаже вещей сопровождаются очень часто неумелыми попытками в этом направлении, а в кинематографических афишах они превратились в неизбежный атрибут.

К сожалению, художник в увлечении декоративной броскостью совершенно забывает и о содержании книги и о бедном читателе, который старается уловить скромный голос текста среди медного бряцания замыкающих его форм. Именно такое злоупотребление декоративностью в ущерб понятности привели к временному захирению искусства книги. Теперь предпочитают сухую, деловую обложку. Текст—и больше ничего.

Говоря об оформлении книги, нельзя не коснуться фото-монтажа. Он представляет собой сочетание отдельных кусков фотографий, вклиняющихся друг в друга. В этом специфическое отличие фото-монтажа от обычного применения фотографии. Его выживание—результат своеобразного (характерного для лефов) преклонения перед машинизацией, перед продуктом об'ективного, механического труда в противоположность суб'ективному, творческому. Его широкое распространение в известной степени определяется реакцией против повышенной декоративности прежнего «декоративного» стиля. Впрочем, есть другая, более существенная причина, а именно, легкость его применения, делающая фото-монтаж очень заманчивым для клубов при устройстве всевозможных уголков (им. Ленина, Мопр и др.). Именно удобство применения обусловило массовый обхват его употребления. Но если фото-монтаж в клубах (для уголков)—при известных опасностях—все же представляет положительное явление, то к его употреблению при книжном офор-

мнению в настоящий момент приходится отнестись отрицательно. Самая легкость комбинирования приводит к неожиданной фантастике распределения, к соединению на одной обложке фотографий различных масштабов, к потере основного пятна и, в конечном итоге, снова к непоятности. Такие приемы приемлемы, пожалуй, для авантурных романов, в роде Месс-Менд,—но не более. Применение фото-монтажа в качестве иллюстрации приводит к сжатию образа, к его излишней конкретизации.

Для плаката фото-монтаж лишен основной необходимой черты—он совершенно незаметен на расстоянии. В «Долине Слез» (кино-лента), напр., издали весь плакат сливается в серую массу, разбитую красными кругами и радиусами, т.е. виднеется лишь декоративное окружение. Во то же время к той же «Долине Слез» обычного типа плакат уже издали давал впечатление мрачной легенды.

О дальнейших судьбах фото-монтажа решать пока еще преждевременно.

IV. Фарфор.

Создание нового советского фарфора общепризнано не только у нас, но и за границей (на выставке в Ревеле русский фарфор получил 1-ю награду).

Некоторые авторы склонны приписывать заслугу создания нового фарфора Чехонину. Такое мнение и однобоко и, по существу, неправильно. Государственный фарфоровый завод был ареной борьбы нескольких направлений. Он не был ни всецело захвачен молодыми левами, как это случилось с книгой, ни составлял вотчину Чехонина и его детище. Если бы весь сдвиг в фарфоре свелся к перенесению миниатюрной графики Чехонина с непроницаемой белизны книжных страниц на прозрачную, блестящую белизну фарфора,—о нем бы и говорить не стоило. Чехонин—носитель лучших тенденций изощренного стилизма «Мира Искусств». Как в книжной обложке, так и в фарфоре он тонкий мастер, влюбленный в свое искусство. Все же мечтательный дух его творчества относится уже к области истории, лежит где-то вне современности.

Левые, в лице супрематистов, преимущественно, внесли как раз противоположную струю, как это имело место в искусстве книги—они революционизировали фарфор покрытием больших плоскостей одним цветом. С точки зрения акварельного мазка с нажимом, характерного для фарфоровой техники, это ужасный варваризм.

Левым же принадлежит и инициатива в попытках создания новых форм. Надо сказать, что результаты этих опытов неблестящи—формы создались громоздкие, сложные и неудобные. Взять хотя бы чашки со сплошными ручками в виде полукругов—пить из них очень трудно. Геометрическая жесткая орнаментика левых и мягкая, почти женственная, манерность Чехонина,—обе нашли применение в третьей центральной струе, которую олицетворяет Шекотихина и отчасти Данько. Свойственная ей стихийная, озорная жизнерадостность соединяется с сознательным и бодрим попиранием старых основ фарфоровой росписи. Крестьянские, лубочные тенденции она без всякого труда сочетает с новейшими достижениями в области фактуры, колорита и т. д. Ориентация на живописный момент, бьющий издали (характерный для левых), у нее мирно уживается с графической трактовкой

деталей. В конечном итоге, вместо ожидаемой *неразберихи* получается нечто весьма спаянное, цепкое и своеобразное. Если и графика Чехонина и геометрическая декоративность левых не окрашены никаким ни локальным ни национальным тоном, работы Шекотихиной и статуэтки Данько—русские, крестьянские, с элементами лубка и крестьянской игрушки.

Таковы они не только по формальным приемам, но и по сюжетности. На их тарелках и блюдах пляшут девушки, парни играют на гармошках, трубки—с лицами деревенских красавиц, статуэтки—матросы, рабочие, работницы.

Следует прибавить, что и другие художники отнюдь не остались в рамках старой сюжетности. Можно сказать, что, помимо растительного орнамента, в фарфоре—вся сюжетность новая, напр., портреты вождей, лозунги, разработка герба и монограммы СССР, торжественные революционные блюда, даже темы нового быта и т. д.

Эта-то многоликость, в сущности, составляет единство нового стиля—единство активных художественных исканий, единство радостных экскурсий в область неизведанных еще сочетаний и неиспробованных еще тем,—в противоположность отстоявшимся стилям, об'единяющимся именно по принципу наличия известного шаблона.

V. Текстиль.

Искусство книги в расцвет «Мира Искусств» получило, может быть, чрезвычайное значение. Фарфор издавна служил предметом коллекционерства. Между тем большая и серьезная работа художников-текстильщиков никогда не дооценивалась. Знатоки любили, правда, ковры, как предмет роскоши. Но вся совокупность тканей, входящих в обиход, оставалась совершенно незамеченной, а их художественное значение и воздействие непонятым.

Огромная заслуга конструктивистов—в самом факте выдвижения текстильного производства на авансцену. Она углубляется еще тем, что именно ситцы, имеющие максимальную область распространения, привлекли их внимание. Итоги их работ дают возможность подвести, во-первых, уже выполненные весной 1924 года набивные ситцы, затем посмертная выставка Поповой (зима 1924—25 г.) и, наконец, воспроизведения эскизов Родченко, Степановой и Поповой в «Лефе» (в сопровождении статьи Брика). Первые ткани (весна 1924) имели несомненный шумный успех. Самые витрины привлекали немало любопытных. Этот успех дал даже основания «Искусству трудящихся» поместить статью под названием «Диктатура вкуса», а «Правде»—«Ситцевая волна». Между тем, меньше всего здесь можно говорить о «диктатуре». Существует другое слово, гораздо более точно определяющее успех «конструктивных» ситцев,—а именно: *мода*. Действительно, после продолжительного периода мелких рисунков крупные резкие геометрические орнаменты *должны были* понравиться. Заграничные журналы уже перешли к крупным рисункам, а узорам Поповой нельзя отказать в своеобразной предести, близкой дикарской игрушке, которая пленяет с первого взгляда, но скоро приедается. В самой сущности орнаментики конструктивистов в применении к тканям кроются элементы, обрекающие ее на изживание. В наивной уверенности в универсальности своих приемов украшения они раздавливают про-

зрачные летние ткани теми же тяжелыми квадратами, углами треугольников и массивностью кругов. Такое явное противоречие с духом волнистой и колеблющейся легкой материи может быть в виде контраста принято в подходящий момент, но на продолжительное существование оно не может рассчитывать.

Первые летние ткани настоящей весны (1925 г.) подтверждают высказанное мнение. Витрины демонстрируют крупные букеты реалистических цветов, а ставший уже более мелким геометрисчески-жесткий орнамент не привлекает ничего внимания. Вывод, конечно, не в том, что реалистические цветы — единственное грустное убежище художника-текстильщика. Просто конструктивисты подошли к вопросу не так, как следует. Поставив его на повестку дня, они не могли с ним справиться.

В других отраслях производственных искусств существенных сдвигов не произошло. Поэтому останавливаться на них не приходится.

Некоторые попытки создания типа универсальной мебели (напр., кровать-кресло-диван), (шкафов-киосков) и т. д. остались в области моделей и театральных макетов, хотя при существующей жилищной тесноте они могли бы иметь данные для распространения.

VI. Станковая живопись. Новый реализм.

Первый порыв революции распылил и дезорганизовал художников-станковистов. Революция принесла с собой сперва предубеждение против станковой живописи, как таковой. Представлене о станковой живописи ассоциировалось с тем ее тематическим содержанием, а также с теми идеологическими обоснованиями, под знаком которых она шла в предшествующий период. К этому надо прибавить ликвидацию центральных групп, направлявших прежде художественную жизнь, о чем уже говорилось выше, затем всепоглощающую плакатную волну, чтобы понять, почему молодым художникам, станкового уклона так трудно было найти общие жизненные пути и объединиться. В период, когда левые громкогласно провозглашали станковую живопись погибшей, и выдвигали свою теорию производственного искусства, они не сумели еще ни собрать разрозненные силы, ни выставить лозунги, отвечающие настроениям массового художника.

В течение всего этого периода некоторая работа в области станковизма все же велась. Главную часть ее проделало то крыло левых (беспредметники, конструктивисты и т. д.), которые твердо верили в существование математических законов, регулирующих колоритные и другие сочетания элементов живописи. Хотя таких законов они и не открыли, все же эта чисто-лабораторная работа, не интересная широким массам, обладает большим учебным значением. Эти исследования в области фактуры и обогащения пространственных разрешений, в области цвета имеют несомненную ценность и для художников-станковистов и для театрально-декоративной работы. Ее результаты заключены в «Музее Живописной Культуры», открывшемся зимой 1924—25 года.

Выражаясь поэтически, некоторые художественные станковые объединения все же пробивались, подобно тихим ручейкам, на поверхность художественной жизни. «Бывший Бубновый Валет», напр., как уже упоминалось, непрерывно, вел сосредоточенную работу. Количество этих объединений по-

степенно все росло. Наконец, предыдущий выставочный сезон (1923—24 год) почти неожиданно продемонстрировал длинный ряд выставок («Маковец», «Жар-Цвет», «Бубн. Валет» и много других). Без особого шума, но очень ясно они показали новый центр устремлений художника: от левых течений и конструктивизма—к станковой картине.

Причина нового сдвига заключалась прежде всего в осознании крушения «Лефа», как течения. Теоретическая линия «Лефа» была дискредитирована еще раньше—она оказалась неосуществимой, и следование ей привело к утопическим построениям. Теперь и практический путь участия в производстве, избранный молодыми художниками-конструктивистами, расценивался, как возврат к былому прикладничеству, ибо результаты их работы в производстве свелись только к новым приемам орнаментаки. Невольно—на некоторый промежуток—реакция против конструктивизма соединилась с реакцией против участия искусства в производстве, потому что идеи производственного искусства были провозглашены именно конструктивистами. Таким образом, станковая живопись нашла вполне подготовленную почву для своего ступления.

В этом наступлении в первую очередь выдвинулась АХРР (ассоциация художников революционной России)

Две особенности дают ей возможность занять центральное положение:

1) АХРР—художественная организация, соединяющая своих членов общностью **активного** стремления к тесной связи с жизнью современности.

2) Вместе с тем она представляет определенное живописное направление, а именно, устремление к монументальному реализму. Та доза примитивной прямолинейности, которой это устремление окрашено, *на первых порах* неизбежна. Ни одна из художественных организаций (включая Московскую Школу «Обис» и «Бытие») не представляет такого выкристаллизовавшегося единства устремлений и потому не обладает притягательной силой АХРР.

Для того, чтобы АХРР стала центром притяжения для массового художника и отчасти для массового зрителя (о чем свидетельствует высокая посещаемость), мало было бы прочной спайки ее членов. Необходимо еще, чтобы поставленные ею задачи и избранные для их выражения формальные пути отвечали устремлениям момента. Оба эти условия на-лицо.

Несколько лет тому назад конструктивизм привлек призывом к материальному строительству.

После длительного периода напряженных узко-формальных исканий, приведших художников в тупик беспредметничества, возврат к реализму был единственно-возможным способом для сохранения станковой живописи.

Это поняли решительно все художественные объединения. В этом смысле очень характерны натюрморты Машкова на выставке зимой 1923—24 года. Прежняя выявленная красочность их потушена для достижения полной объективной *предметности* изображения. В течение того же выставочного сезона (1923—24 г.) робкие ростки реализма пробиваются на всех выставках. Ярче всего, по контрасту, они прозвучали—странно сказать—на «Дискуссионной Выставке Левых Направлений» (весна 1924 г.), среди лефовского молодняка. Продолжение развития тех же тенденций с разными отклонениями мы встречаем и в этом году. Всюду этим новым устремлениям при-

ходится выдерживать борьбу старыми живописными традициями. В «Бытии», напр., они яростно борются с влиянием сезаннистов, «Бубнового Валета» прошлых дней.

Выдвигая новый реализм, АХРР, таким образом, только резче и определенней всех вступила на назревший уже путь развития. Выражение «реализм» обычно употребляют без комментариев, считая его вполне конкретным. Между тем содержание этого слова очень вместительно. Мало было притти на путь реализма. Следовало еще придать ему именно тот уклон, который нужен сейчас; соединение уклонов героического эпоса и социально-бытового, который продвигается АХРР, и есть наиболее импонирующий, наиболее сильно воздействующий и наиболее понятный путь реализма.

Таким образом, причины притягательной силы АХРР в правильном учитывании потребностей момента. В умении формулировать назревшие тенденции, в умении четко их выявить—огромная заслуга, огромное достижение, выводящее живопись на широкий исторический путь и обещающее возможность нового расцвета.

Но если говорить об АХРР, как о выставке «Революция, Быт и Труд», состоявшейся текущей весной,—выступит целый ряд недостатков в процессе разрешения поставленных задач. Некоторые из них грозят жизненности течения. Поэтому на них следует остановиться.

Реализм, как *формальное* устремление, имеет конечной целью воспроизведение вещи в полной ее предметной об'ективности. В то же время реализм *творческого замысла* стремится передать сюжет с тем суб'ективным уклоном, с тем подчеркиванием, которое определяется психологией автора. *Конечный реализм* изображения—картины—всегда будет находиться где-то между этими двумя полюсами.

При преобладании реализма формальных устремлений, мы получаем подавление замысла назойливой предметностью. Пример: многие картины передвижников и целый ряд картин на выставке «Революция, Быт и Труд».

При полной победе суб'ективного замысла—мы получаем гипертрофию психологизма, как, например, целый ряд картин немецких художников социальной сюжетности—Биркле, Феликсмюллер и т. д., работы «Бытие», графика Земенкова.

Правильный путь в согласовании этих двух элементов. Большинство недостатков VII выставки АХРР вытекает из отсутствия такого согласования. Главные из них: слабость психологической выразительности и рассудочная риторичность поз. Большинство художников ограничивается добросовестными зарисовками труда и быта, не окрашивая их тоном своего суб'ективного восприятия. Среди бытовых картин на выставке нет ни одной сатирической картины (хорошо было бы художникам вспомнить Шмелькова, графика-сатирика прошлого века), ни одной драматической, юмористической и только—несколько характерно-бытовых («На кухне», «Последний лозунг», «Октябрины» и т. д.).

Между тем, ни простая зарисовка, ни псевдо-патетическая не приводят к тем результатам, которых ожидает автор. В одной из картин, посвященных разгону демонстрации, художник хотел, очевидно, изобразить, как казак добивает рабочего. А создается впечатление, что он разглядывает раненого

с тем выражением спокойного хозяйственного любопытства, с каким поворачивают мясо в супе и решают, готово ли оно? Эффект, конечно, совсем не соответствует ожиданию автора. Точно также «Бомбист» Никонова, несмотря на значительную художественную зрелость автора, не затрагивает, благодаря холодной риторичности.

И риторичность, и бледность выразительности проистекают от недооценки значения субъективной стороны замысла, от недооценки индивидуального тона восприятия. На выставке «Бытие» художник Колобов делает довольно любопытные попытки к выявлению своего подхода. Его работы, напр., «Утро» и «Хор», если еще неумелы, то все же интересны.

Помимо особенностей, проистекающих от недостаточного понимания содержания «реализма», от смешения реализма с фотографичностью, имеется еще целый ряд ошибок, обусловленных недостаточным овладением материала, ошибок чисто технического характера. Из них главная, даже не живописная сторона, которая часто хромает, а тот самый новый «композиционный строй», о котором говорит АХРР и без которого немислимо создание монументального эпоса. Художники строят монументальную картину, исходя, главным образом, от иллюстрации или зарисовки, реже от плаката. Оба подхода, конечно, совершенно неправильны. Монументальная картина подчиняется своим специфическим законам. Здесь сказывается полная неподготовленность художника к компанованию сложной картины. Этот вопрос был очень основательно забыт в период продолжительного господства бессюжетных живописных течений.

Указанные недостатки были бы очень опасны для отстоявшегося течения, в котором самые ошибки превращаются в традицию. Но для молодого нового реализма их преодоление при *серьезной работе* неизбежно и во всяком случае *необходимо*.

В. Итоги и перспективы.

Подводя итоги сдвигам и достижениям в области изобразительных искусств, надо фактом основной важности признать расширение этого понятия, включение в него, в разрезе полного равенства, целых отраслей, которые раньше считались недостойными высокого искусства и были в загоне, т.-е. всевозможных ответвлений производственного искусства. Помимо того своеобразнейшим достижением является создание плаката в его новом, богатом возможностями, значении и выдвигание текстильного искусства, как той отрасли производственного искусства, которая проникает в самые недра быта и тесней всего оллетает жизнь.

Не менее плодотворен и значителен сдвиг в области станковой живописи. Предшествовавшие формальные течения довели ее буквально до самоубийства, до непроницаемой безнадежности беспредметничества, являющегося их логическим завершением. Извлечение ее на широкую арену нового реализма в соединении с социальной сюжетностью открывает простор исканиям и достижениям в новой области, для которой мастерское овладение формой — только *необходимое средство*, а не цель. В то же время оно знаменует начало новой *живописной* эры, если можно так выразиться. Сейчас станковая живопись на гребне волны. Значит ли это, что производственное искусство снова уйдет в тишь и глубь? Конечно, нет. Это временное состояние — результат

изживания конструктивизма и левого засилья. Фактически только сейчас производственное искусство (в приведенном выше значении) приобретает все данные для подлинного, крепкого расцвета в лице крепнущего фабричного производства.

Для нормального развития искусства в производстве в дальнейшем надо подвести итоги ошибкам «Лефа». Помимо утопической постановки вопроса, главная ошибка заключалась в том, что созданный им стиль повис в воздухе. Если основная заслуга левых в огромной творческой активности, в стремлении работать над созданием нового стиля, то крупнейшая ошибка в недооценке роли масс в формировании нового стиля, а в особенности в недооценке роста их культурной активности, в нежелании механически принимать готовые формы. При новом подъеме вопросов производственного искусства необходимо учесть этот важнейший фактор.

В сущности тот же вопрос стоит и перед станковой живописью. Новый реализм должен твердо помнить, что для сохранения своей руководящей роли он должен сохранить теснейшую связь с жизнью. Для этого он должен, в первую очередь, перекинуть мостик к тем отраслям изобразительных искусств, которые, хотя и входят в состав производственных, все же теснейшим образом связаны со станковизмом—иллюстрация, каррикатура, показательная таблица и т. д., т.-е. весь полиграфический концентр.

Кроме того, для дальнейшего здорового *художественного* роста необходимо впитание всех достижений в области цвета, формы и др., которыми мы обязаны предыдущим течениям.

Характер нового реализма может, конечно, несколько видоизмениться. Не надо забывать и о новых художественных силах, которые придут из Вхутемаса. В течение долгого периода он переживал бесконечные смены руководящих течений, поэтому влияние его не сказывалось. В настоящее время он уже отстоялся. Более жизненный уклон преподавания, тесная связь студентов с рабочим бытом (практика на фабриках), работа в клубах, руководство кружками «Изо» и т. д. дают возможность предположить, что впредь кончающие Вхутемас и объединенные выставкой «Ост» будут вносить живую струю в общую художественную жизнь.

Если предположить, что пути изобразительных искусств будут развиваться в намеченном направлении, в равномерном поступательном движении станковой живописи и производственного искусства, перед ними открываются широкие перспективы: создание нового стиля органически связанного с жизнью и высокое поднятие художественной культуры.

Ф. РОГИНСКАЯ.

Итоги литературного года.

Д. Гербов.

Истекающий год войдет в историю России, как последний год восстановительного периода в народном хозяйстве Советского Союза и первый год закладки нового строительства.

И в области художественного слова мы наблюдаем в этот год отражение того творческого под'ема, который переживается всем организмом страны. Период подготовки, разрозненных поисков, романтических порывов в космос, робкого шапупывания художественных форм, способных воплотить новую действительность, постепенно изживается. И по количеству произведений, и по об'ему наиболее значительных из них, и, главное, по внутреннему содержанию, советская литература показала себя в этом году значительной общественной силой, осознавшей свое собственное место в общем строительстве культуры Советской России.

Наша литература, в общем и целом, говорит теперь твердым голосом, и о нужных нам всем вещах. Не то чтобы подготовительная работа была заброшена—это было бы только печально: Нет, она продолжалась и в этом году, будет продолжаться, конечно, и впредь. Урожай первых опытов литературной молодежи был, может быть, обильней, чем в прошлые годы. Но, на ряду с этими первыми шагами, мы имеем достижения, позволяющие без всякого преувеличения утверждать, что *наша молодая советская литература выросла до произведений большого стиля.*

Такова первая, бросающаяся в глаза черта настоящего литературного года. Вторая, не менее важная, хотя и не столь, на первый взгляд, очевидная—это *направленность внутренней динамики литературы в этом году к некоему единому центру.* Одна тема властвует над умами наших писателей, вернее, две, но так тесно между собою связанные, что они сливаются в одну: *тема трудового под'ема страны и взаимоотношения города и деревни.* Над художественным воплощением этих тем, центральных и в жизни Советского Союза и в его искусстве, с одинаковым творческим напряжением работают и пролетарские писатели и «попутчики». Тем самым художественная практика этого года утверждает, во-первых, господство реализма в нашей литературе, при котором исключается разрыв между задачами жизни и искусства. А во-вторых, здесь обнаруживается известная условность деления наших писателей на «пролетарских» и «попутчиков», поскольку в наши дни дружного

под'ема всех живых сил страны вокруг дела, руководимого партией, эта грань, еще недавно остро ошутимая, до некоторой степени стирается. Конечно, и до сих пор есть писатели, для которых она остается еще во всей силе, но уже столько из прежних «попутчиков», перешагнули ее, решительно сблизившись с пролетарской литературой (в темах, которые их волнуют, в перспективах жизненного и художественного разрешения этих тем), что нет уже никаких оснований считать ее чем-то безусловным. Она не может не остаться в наш переходный период борьбы противоречивых общественных сил, но лишь как необходимая рабочая мерка для критики того или иного литературного явления, и, может быть, еще больше, как необходимая мера самокритики писателя.

Это становится особенно ясным, когда берешь во внимание третью черту настоящего литературного года—именно, *отступление враждебной нам литературы*, которая до сего времени в более или менее прикрытом виде, но все же у нас существовала. Индивидуализм, упадочничество, кокетничанье самодовлеющей «красотой» переживания или литературной формы,—все то, что хотело бы оскалить зубы, но, за неимением их, ввиду старческого одряхления, ограничивалось высовыванием языка со страниц Ильи Эренбурга, «Русского Современника», «России»,—все это, как будто, отошло в прошлое. И. Эренбург молчит. По слухам, он пишет автобиографический роман. Что же, ему полезно подвести кое-какие итоги. Молчит и «Русский Современник»: этому даже итогов подводить не приходится, ибо сам-то он является итогом (и довольно жалким) целой части интеллигентской культуры, упершейся в безнадежный тупик. Что же касается «России», то, ведь, ее враждебность к новой жизни в стране характеризовалась не столько беллетристкой, сколько бойкими философско-эстетически-фельетонными выпадами Стрельца (впрочем, ни разу ничего не подстрелившего), да много-плоскостными (и все же довольно плоскими) и спиральными умственными выкрутасами И. Лежнева. При всем том, и в текущем году ряд произведений остается за чертой, которая отделяет попутническую литературу от той, что окончательно влилась в общее советское строительство. И этот факт требует внимательнейшего к себе отношения.

Наконец—и это последняя характерная черта истекающего литературного года—*ряд писателей, доселе чуждых современности, начинает восстанавливать, и подчас удачно, связь с ней*. В целом ряде случаев возможная неискренность такого поворота совершенно исключена. Гораздо большее значение имеет здесь вопрос о глубине сдвига.

Наше ознакомление с литературными итогами 1925 года пойдет по **указанным основным линиям**.

I.

Если под произведением большого стиля подразумевать произведение, охватывающее все коренные наболевшие вопросы времени, при чем автор берет их не внешним быто-описательным изображением, но став как бы в сердцевину эпохи и выведя ее большие вопросы и противоречия из себя (или включив их в себя), дает им типическое воплощение в ряде законченных, об'ективированно-выпуклых, живущих своею собственной жизнью и отнюдь

не играющих роль бытовых подробностей только образов,—то таким произведением большого стиля, несомненно, придется признать роман Федора Гладкова «Цемент». Произведение это основано на центральной для эпохи теме—теме хозяйственного возрождения страны в обстановке непа. Однако, именно потому, что тема эта—центральная для эпохи, она изблюблена пролетарской литературой и в «Цементе»—не нова. Об обмирании заводов писал Ляшко («Железная тишина»); трагедия партийца, из обстановки гражданских боев попавшего, «как кур», в жирные неповские щи, не раз и не два разрабатывалась во множестве рассказов, очерков, рассеянных по нашим журналам, альманахам и сборникам. Но посмотрите, что из всего этого получилось в «Цементе»! Для Ляшко, мастерски разрабатывающего тему разрушенного завода, в теме этой видится главным образом, если не исключительно, *трагедия вещи*, при чем это «неодушевленное» действующее лицо, при всей силе изображения, романтически существует здесь само в себе. Для Гладкова в «Цементе» жизнь вещи есть лишь повод для раскрытия *внутренней трагедии общественного человека*. Именно вглубь его внутреннего мира смотрит здесь Гладков, превращает изблюбленный «кузнецами» мотив завода и машин из цеховой лирико-романтической темы, какую она была до сих пор, в предмет эпического повествования. Тем самым он выводит эту тему на дорогу большого стиля.

Трагедия партийца в обстановке непа бралась до сих пор в плоскости дидактической. Давались обычно персонажи: стойкий партнеп, партнеп нестойкий и «обволакивающая среда» (преимущественно в лице соблазнительной буржуазии, описание которой почиталось иной раз не последним аттракционом для читателя). В «Цементе» эта тема совершенно освобождена как от чувственной гривуазности, так и от дидактизма. Тут она поставлена на надлежащее место. Буржуазные сирены, совращающие праведного коммуниста с пути истинного, отсутствуют вовсе. Внимание автора от начала до конца большого романа сосредоточено исключительно на внутренней жизни парт-организации, бьющейся на трудовом фронте восстановления хозяйственной жизни целого края в обстановке нарождающегося непа, с одной стороны, и спадающей волны боев с остатками белогвардейщины—бандитами, с другой. Изменяющаяся обстановка властно диктует парт-организации ее линию, а по ней приходится равняться каждому партийцу, если только он не хочет отстать от авангарда и слиться с обывательщиной.

В такой обстановке темы заключается цельность произведения и углубленность личных трагедий действующих в нем лиц. Гладков берет здесь человека, ставит его в определенные условия и следит за тем, как он будет действовать. Этот художественный эксперимент тем более законный, что лабораторией художника является живая действительность, снабжающая его человеческим материалом и бесконечным разнообразием беспрестанно изменяющихся условий, в которых этому человеческому материалу приходится действовать, естественно подводит писателя к целому ряду заостреннейших проблем, которые живая и трепетная революционная обстановка настойчиво навязывает к разрешению. Тут и вопрос о взаимоотношении полов, и вопрос о спехах, о парт-этике, о положении интеллигента в партии, о новых методах парт-работы в мирной обстановке, о взаимоотношении беспартийной рабочей массы с парт-коллективом.

И надо отдать справедливость автору: все эти проблемы, из которых каждая в отдельности могла бы служить (и не раз служила) темой для самостоятельного художественного произведения, здесь, в этом большом романе, не только органически увязаны между собой. Увязка—вопрос техники, а техникой большого стиля не достигнешь. Здесь они с чисто жизненной непосредственностью вырастают из того цельного куска действительности, из которого сделана вся вещь. Несомненно, автору удалось подслушать какую-то глубинную мелодию эпохи,—мелодию ее высокого волевого напряжения к преодолению ветхого Адама на Советской земле, и все остальные темы звучат как обертоны, естественно вытекающие из мелодии основной.

Эта глубинность запашки, вскрывающей нижние плодородные жизненные пласты, позволяет автору идти по своему произведению выпрямившись и пользоваться только широкими жестами большого стиля. Ему, стоящему на большой глубине, совершенно не нужно затуманивать поверхностные противоречия. Он не станет скрывать великой внутренней борьбы, в которой новое является неизбежно даже исключительным и передовым индивидуумом. Он не сделает краскома—рабочего Глеба, возвращающегося с фронта, сознательным и просвещенным сторонником женского равноправия. Нет, это центральное лицо романа предстает перед нами со всеми грубыми аппетитами и тяжелой рукой мужа, по-старинке желающего морально смять жену и согнуть ее личность. Только путем отпора со стороны Даши и глубокой внутренней борьбы, в великих трудах, и в этом вопросе совлекается с Глеба ветхий Адам.

Роман смело срывает покровы с жизненных противоречий самой противоречивой из эпох и даже порой заостряет их. Инженер Клейст, доведший некогда свою ненависть буржуазного интеллигента к коммунистам до предательства (он выдает коммуниста Глеба белым), в мирной обстановке склоняется перед железной волей того, кто был им предан, заражается его неодолимой волей к трудовой победе и становится одним из активнейших его помощников. Но это заострение противоречий у Гладкова—художественно-оправданный прием. Антитезы его взяты настолько жизненно-глубоко, развертывая эти грандиозно-углубленные противоречия, художник стоит на столь глубинном жизненном пласте,—что заостренность антитезы оправдана, и мы воспринимаем ее как один из тех жестов большого стиля, из которых соткана вся вещь.

Предгубисполкома Бадьин, стойкий, выдержанный коммунист, пьянствует с предсовнархоза Шраммом, отбивает у Глеба Дашу, пользуется душевным смятением, внутренней беспомощностью и одиночеством коммунистки Меховой, чтобы взять ее, как женщину. Какая тема для обывательских разговоров о распущенности в партийной среде! А сколько можно наговорить по поводу этого хороших, теплых слов о том, что сознательный партиец должен быть нравственным, не пить, не курить и, если уже брать женщину, то не иначе, как испросив у нее на это формальное согласие! Но жизнь сложнее всех теплых, хороших слов, какие могут быть о ней сказаны, и художник правильно делает, что вовсе не говорит лишних слов о жизни, а изображает ее самое, и не боится встретиться с ее подлинным лицом. Таков в действительности Бадьин, верный и стойкий солдат революции, идущий найти

соответствие своей огромной, сильной натуре в смелом, открытом удовлетворении своих страстей, но в каждом своем шаге помнящий о том деле, которому служит. Когда будет нужно, он посадит того самого Шрамма, с которым только что курил, в тюрьму за вред, наносимый им революционному строительству. Завоевав Дашу, он не унижится до сокрытия своей победы от Глеба, не станет пользоваться ею, как вор. А нанеся Глебу этот личный удар, он всем своим большим партийным авторитетом в нужный час окажет ему поддержку в его трудах над восстановлением народного хозяйства. И в нравственном насилии над Меховой большая часть вины снимается с него той напряженнейшей военно-трудовой обстановкой, в которой он сжигает свои огромные силы, не щадя себя и, поневоле, порой утрачивая способность обзывать свое великое душевное напряжение.

Таков Бадьин — внешне противоречивый, внутренне — цельный, и таким он взят в роман твердым пером Гладкова, не побоявшегося охватить этот образ во всем его объеме.

Наконец, сцена чистки парт-организации дана Гладковым в тонах большого искусства, со всей смелостью, на которую уполномочивает художника взятая им углубленная установка романа. Художник пренебрег мелочным бытовизмом, он совершенно правильно обошел мелкие подробности оскорбленных или задетых самолюбий, тайного шкурничества, подсиживания, интриг, которые неизбежно накручиваются вокруг такого дела натурами мелкими и эгоистическими (ведь в них нигде не бывает недостатка). Все это осталось вне поля зрения Гладкова. Перед комиссией по чистке проходят у него натуры крупные, будь то предгубисполкома Бадьин или рядовой партиец Цхеладзе. От этого вся процедура насыщается содержанием трагедии. Для многих (Меховой, интеллигента Сергея, грузина Цхеладзе) чистка, действительно, кончается трагически. Цхеладзе, вычищенный из партии, стреляется на глазах у комиссии. Мехова морально уничтожена своим исключением. Для Сергея, более стойкого, открывается как-будто возможность борьбы за восстановление его в правах члена партии. И казалось бы, что в этом выбрасывании из рядов партии людей, во всяком случае безусловно честных, кроется отрицание самой меры, направленной к оздоровлению партии, а на деле как бы приводящей к ненужным никому мучениям людей, партии преданных. В страницах романа, посвященных чистке, заключается, быть может, высшая точка напряжения тех противоречий, на которых построена вся вещь. Здесь эти противоречия вырастают в подлинную трагедию мрачной убедительности и суровой мощи. Но разрешение ее тут же, в ней самой: только то, что до конца сильно и живо великой верой в партию, что способно бороться до конца, неотрывно сплетясь с делом партии, веря ей во всем и провидя всей полнотой своего существа ее конечные цели, только это достойно остаться в ее рядах. Вот почему из всех судорог, связанных с болезнью чистки, парт-организация выходит по-новому сильной, и роман кончается торжеством победы над разрухой: завод пущен.

Мы совершенно не можем говорить здесь не только об отдельных подробностях романа (из которых многие исключительно сильны), но даже о главных действующих лицах, которые все, вместе с второстепенными, даны с крайней законченностью и той внутренней психологической скульптурностью, которая порождена цельностью общего замысла романа. Не можем

говорить и о замечательном стиле романа, который представляет из себя органический сплав народного словарного материала, эпического склада героической народной песни и стремительной поступи поэмы о труде.

В этом обзоре нам приходится ограничиться лишь рассмотрением общей установки произведения. И в этом направлении о «Цементе» нам хочется прибавить следующее. Роман представляет собой громадный шаг вперед по отношению к предшествующим произведениям самого автора. Впервые в этом романе плуг его взрывает целину действительности. Еще недавно плуг этот романтически бороздил жизнь гораздо ближе к поверхности, лишь временами достигая ее плодородных пластов, хотя уже и тогда он обнаруживал остроту и крепость, которые позволяли ожидать, что он рано или поздно войдет в самую землю. Как бы то ни было, и в «Цементе» есть еще следы этого романтизма. Самая установка темы говорит о ней: труд еще понимается здесь отчасти как напряженный героический порыв; парт-организация живет как бы над страной, при чем ритм ее жизни обгоняет ритм среды, с которой ей приходится иметь дело; не видно «приводных ремней», которыми мотор партии приводит в движение маховое колесо народного хозяйства, тех рабочих и, в особенности, крестьян, которые ведь не только тормозили работу партии, но сплошь и рядом подталкивали ее и постоянно служили ей коррективом; протестующая, дерзаящая и как бы празднично-боевая роль партии выдвинута за счет повседневной буднично-организационной. Вся эта исключительность в трактовке темы об'ясняется, конечно, эпохой первого периода непа, к которой относится действие. Все же она приводит, подчас, к напряженности в стиле романа (не всегда оправдываемой трудовым порывом, как темой) и не позволяет автору разрешить некоторые из поднятых им проблем (так, проблема взаимоотношений Глеба и Даши остается висеть в воздухе, между тем, это вторая центральная тема романа).

«Цемент» большое достижение. Но это еще большее обязательство. После него мы вправе ждать от автора дальнейшего углубления в целину изображаемой им действительности, и в повседневные ее творческие будни, полные огромного содержания и красоты не меньшей, чем героические взлеты, так глубоко изображенные Гладковым. Но для этого писателю придется в своей дальнейшей творческой работе присоединить к протестующему «Лермонтовскому» мировосприятию долю прекрасной «Пушкинской» ясности. Мы уверены, что писатель с таким большим жизненным охватом и с таким громадным чувством жизни неизбежно к этому придет. За это ручается жизнеутверждающий, мажорный тон «Цемент».

Другим крупным достижением нашей пролетарской литературы за этот год является роман А. Веселого «Земля родная». В известном смысле оно полярно «Цементу» Гладкова. Здесь от романтизма мы не найдем и следа. Артем Веселый непосредственно радуется жизни, ее формам, ее бытовому и даже этнографическому насыщению. Если у Гладкова в центре внимания—человек в окружении города и машин, то у Веселого это, главным образом, деревня и, если город, то уездный. На страницах «Земли родной» господствует бытовизм, но бытовизм радостный, вопреки описываемому тягостному быту. Кolorитность происходящего на глазах у писателя бурления жизни, отдающую писательской воли ее взбаламученным волнам— вот что составляет душу этого романа. А. Веселый богат красками и штрихами, обаяние его

манеры—в теплоте и глубине тонов, которые он избирает для изображения уездного и деревенского. С одинаковым и каким-то любовным вниманием изображает он и нелепицу уездного инструктора, по несознательности насажавшего кулачков на места предвиков, и распаренную натуру купчика-художника-коммуниста, которого жена-коммунистка никак не может вовлечь в работу, и самое Гильду, пламенную активную работницу, у которой крепкий, здоровый смех, как хруст разгрызаемой капустной кочерыжки, и красноармейский бал в уездном городке, и зверское истребление коммунистов мужиками по деревням. Хороши у него массовые сцены: встреча красного конного отряда городом Клюквиним, занятия Гильды с красноармейцами по политграмоте, мобилизованные крестьяне в бане, забастовка ж.-д. депо, масляница в деревне и т. д.

Веселый обладает способностью чувствовать жизнь толпы—крестьянской, красноармейской, рабочей, бабьей,—умением расслышать в ней различные голоса, сливающиеся в один голос, и увидеть разные лица, сливающиеся в одно лицо. Но со столь же непосредственной легкостью проникает его взгляд и во внутренний мир тех немудрых индивидуальностей, которые даются его перу любовного соглядатая жизни без видимого труда и в которых он, при всей их простоте, умеет видеть великое разнообразие. Байбак (и в сущности, шкурник, прикидывающийся коммунистом) купеческий сынок Ефим, «барышня-латышка»—Гильда, начальник конного отряда, а затем предгубкома Капустин, «бешеный комиссар» Ванякин, длинный ряд крестьян, дезертиры с Митькой Кольцовым во главе и целый ряд других фигур двумя-тремя штрихами даны во всех подробностях своего лица и характера. Способностью подводить изображаемое лицо вплотную к читателю, знакомить его с ним запросто, А. Веселый обладает в высокой мере.

Дар изобразительности составляет главную ценность «Земли родной». Она-то и заставляет нас поставить этот роман в первый ряд произведений пролетарской литературы, оставленных нам этим годом как ценное наследство. Все же о большом стиле говорить на этот раз мы не решились бы. Разительной чертой романа является некая несведенность концов с концами, ощущение которой становится все сильнее с каждой прочитанной страницей, а после прочтения всей вещи вырастает в большой вопрос, неотвязно стоящий перед читателем. Это ощущение идет не от стиля и даже не от композиции романа. Совершенно очевидна внешняя зависимость А. Веселого в этом отношении от Пильняка. В стиле—тот же монотонный речитатив, то нервно-ускоряющийся, то заплетающийся в вычурных арабесках. В композиции—то же сплетение многих сюжетов, из которых каждый как бы существует в романе рядом с другими и не сливаясь с ними. Но совершенно очевидно, также, что использование Пильняковской манеры здесь чисто внешнее. Светлый, жизнерадостный артистизм Веселого нигде не впадает в истерическую крикливость Пильняка, упоенно-загромождающуюся проблемами и захлебывающуюся в противоречиях, часто мнимых.

Причина несведенности концов с концами в «Земле родной»—не в стиле и не в композиции, а в самом замысле романа. Нанизывая картину за картиной, образ за образом, автор как-будто единственной целью своей работы считает это нанизывание, словно полагает, что его картины и образы сами дойдут до читателя, который и сделает нужный вывод, а он, автор,

от этой обобщающей работы **забавлен**. Подробно изображает он перебои в работе Советского уездного аппарата, раскрываемые им в ряде характерных штрихов, достижений и нелепиц, с наименьшей подробностью рисует дикую реакцию мужиков, пытающихся сбросить с себя тяжкий, хоть и неизбежный хомут военного коммунизма... Мужичий бунт растет, развивается, грозит захлестнуть уездный центр, крестьяне имеют в свое оправдание многое и многое из того, что так убедительно изображено самим автором,—иначе говоря, конфликт изображен трагическим, каким он и был в действительности. Читатель, естественно, ждет объяснения, выхода (который в действительности, ведь, был же найден)... Но А. Веселый уже удовлетворен, его художнический порыв исчерпан серией занимательных и с большим теплом нарисованных картин,—как художник, он доволен, ему больше ничего не надо. И вот, следует глава 12-я и последняя. Она вся в нескольких строках:

«Город гудел тревогой.

«Восстанцы шли подобно земляному потоку, все сметая по пути.

«Встречь, в дребезжащих теплушках, накатывались красные полки.

«Ударились.

«Город подмял деревню, соломенная сила рухнула, и восстанцы, бросая по дорогам вилы, пики, ружья,—на все стороны бежали, скакали и ползли, страшные и дикие, как с Мамаева побоища»...

Не правда ли, этой внешне-изображенной победы слишком недостаточно для развязки большого произведения? Но А. Веселый доволен; он так рад всему, что ему пришлось изобразить:

«Страна родная!..—воскликает он.—Дым, огонь—конца краю нет!..»

Такой срыв у А. Веселого не может быть, конечно, ничем иным, как недостатком, порожденным молодостью (писательской, разумеется). Думается, к этой же категории недостатков нужно отнести и вычурность языка («Снеж» вм. снег, «Вьюж», «Встречь» и т. д.) и внешнюю зависимость от Пильняка и Белого. Как бы то ни было, и при этих недостатках «Земля родная» крупное достижение пролетарской литературы за этот год.

Третьим примечательным явлением в этой области является повесть Ю. Либединского «Комиссары» (опубликована пока вся первая часть и отдельные главы второй). Действие повести относится к тому периоду, когда еще недавно «оттремела гражданская». Военкомы одного из дальних округов, по наблюдению командующего округом, «скупают». Кто женился на мешанке, кого тянет в свое крестьянское хозяйство, кому просто хочется к семье. Работа падает. Этому сопутствует еще и то обстоятельство, что организационная и пропагандистская работа в мирной обстановке требует специальных знаний, которых у военкомов, воспитанных в обстановке гражданской войны, повято, быть не может. Это тоже содействует упадку рабочего настроения и направляет внимание по руслу личных интересов. Начпукра Ефим Розов, которого многие партийцы называли за его жестокость и непреклонность в работе «чортушкой», а иные даже бранили бюрократам, но который на самом деле был выдержанным, стойким партийцем, способным убраться со своей собственной дороги все личное, если оно становится препятствием

в работе, советует командующему организовать при округе политкурсы, созвав на них военкомов с мест. Цель курсов двоякая: во-первых, они повысят квалификацию военкомов и снабдят их необходимым оружием для работы в мирной обстановке—знанием. А во-вторых,—и это является, по мысли Розова (с которой согласен сам автор), самым существенным,—курсы оторвут военкомов от того, что коротко можно назвать «обволакивающей средой», и создадут подобие военной обстановки, которая должна поддерживать их дух.

Скажем прямо, что такую установку, данную Ю. Либединским своей теме, мы считаем художественной ошибкой: большое партийное дело приобретает вследствие этого характер искусственного педагогического эксперимента. Бывать работника на каких-нибудь шесть месяцев из опасной для его партийной цельности семейной среды только для того, чтобы создать ему некий душевный санаторий в виде искусственно-подстроенной военной обстановки, едва ли может быть оправдано жизненно, а следовательно, и художественно. Другое дело, если бы речь шла о разрешении назревшей задачи практического характера,—одной из тех, которые в необ'ятном числе стояли перед партией, стоят перед ней и будут стоять, вероятно, до того самого момента, когда исчезнет необходимость самого ее существования. Такой задачей чисто практического характера могла бы явиться в изображении художника та самая учеба, в которой особенно остро нуждались, конечно, все члены партии в момент перехода от военного коммунизма к нэпу. Правда, Либединский говорит и о ней, но она, в решении командующего И. Розова, имеет как бы второстепенный характер, являясь лишь поводом для вызова военкомов в окружный центр, да еще способом чем-то занять их по приезде туда. Основным же мотивом, повторяем, является мотив моральной гигиены, нравственного выздоровления в освежающей полувоенной обстановке.

Такой морализирующий отрыв от святого практицизма не остается бесследным для повести. Военкомы, понятное дело, протестуют, каждый по-своему. И вот, читатель, которому и в голову не могло бы притти внутренне поддержать их протест, если бы их созыв диктовался исключительно жизненными практическими потребностями, теперь невольно задается вопросом: а в самом деле, стоило ли отрывать людей от работы, нужно ли препятствовать крестьянину ехать в деревню, чтобы выручить свое бедняцкое хозяйство, нужно ли лишать совершенно больного Иосифа Миндлова более чем заслуженного отпуска и тем, очевидно, подводить его под неминуемую гибель, только для того, чтобы заключить их всех на 6 месяцев в нравственный санаторий? И не является ли живая партийная, общественная работа лучшим санаторием, излечивающим все виды общественной апатии скорее, чем это можно сделать в любом специальном заведении, в четырех толстых стенах, хотя бы даже этими стенами были стены большевистских политкурсов.

Мы склонны видеть в такой установке повести известную боязнь автора перед живой жизнью, как будто партия черпает свои силы не из этой последней, а откуда-то из самой себя. Эта жизнебоязнь сказывается и в другом. У Либединского выведена очень яркая и чрезвычайно симпатичная фигура одного из мобилизованных на курсы—военкома Шалавина, простого крестьянина и хорошего партийца, на своем долгом веку (ему «скоро на шестой

десяток пойдет») много пережившего и перевидавшего. Он обращается к своему молодому товарищу со следующими примечательными словами: «...мужик с бабой обычно скверно обходится. Возьми даже наших коммунаров. В постели она ему вроде игрушки, а днем так вспомнить срамно. И всегда ее понимают как отсталый элемент, а я скажу, что такое понимание от полов курсив наш. Д. Г.). Попы брехали—что, мол, сосуд дьявола и что у ней души нет, вот и наши коммунары тоже заражены старым. Он ее себе равной не считает». Но если посмотреть, какую роль играет женщина в повести самого Либединского и как относятся к ней его партийцы, то получится тоже своеобразный «сосуд дьявола». Женщина у Либединского это неизбежно—«обволакивающая среда», волей (если это жадная и пустая мешанка Арефьева) или неволей (если это крупный человек, как жена Розова) мешающая работе мужа, сбивающая его с пути истинного либо требованием ответ-пайка, либо непозволительным для жены партийца желанием иметь ребенка. В этом недоверии к женщине, как человеку, в этом постоянном противопоставлении женщины связанному с ней мужчине нам чудится своеобразная перелицовка поповской неправды не о женщине только, но о жизни вообще. Думается, что Либединский создает проблему там, где в жизни сплошь да рядом все обстоит гораздо проще и... человечней. И да простит нас автор, если при чтении иной его страницы нам, ценившим его дарование, невольно хочется обратиться к нему с пожеланием, которое было высказано Шалавиным своему очень стойкому в партийном отношении, но очень юному товарищу: «Женился бы ты, товарищ, вот. Это плохо, что ты бабы не имеешь. Она тебе развитие даст... Да ты не качай головой. Ты думаешь—вот какой я есть политический гражданин Лобичев. Но я тебе скажу—ты мальчишка. Мальчишка и все. Как ты с бабой не поживешь, ты еще сам себя не знаешь, что ты есть, и определить тебя нельзя... Другой был ни рыба, ни мясо, столкнулся с бабой и образовался как твердый человек. Так-то».

Либединский должен вплотную подойти к жизни, слиться с ней как художник, выводить свои художественные обобщения—из нее одной. И жизнь ему, как художнику, несомненно, «развитие даст», и только в этом случае он «образуется как твердый» писатель. Этого пока нет. А возможность к этому у него есть и не малая.

Но и помимо возможностей, которые она обнаруживает в авторе, повесть богата реалистическими зарисовками большого разнообразия. В общем Ю. Либединский удачно использовал ее завязку. Сведя своих комиссаров со всех концов округа, устранив женские персонажи, которые появляются лишь в отдалении, автор дал целую галерею мужских портретов, написанных с большой уверенностью, силой и мастерством. Начальник курсов Арефьев, быв. офицер и меньшевик, а теперь стойкий коммунист, сохранивший в себе положительные стороны своей буржуазной культуры, но принесший их на службу пролетарскому делу; глубоко-честный, до самоотверженности преданный партии, его помощник Иосиф Миндлов; юноша-крестьянин Лобичев, приносящий партии свое чистое сердце и ясный разум; великолепный комсомолец Косихин и мн. др., перечислить которых здесь нет возможности. Все они даны в индивидуальном разнообразии, которого не могут скрыть их серые шинели, все выписано хорошо, четко, взяты глубоко в живом действенном раскрытии своего внутреннего мира. Прекрасно показана

история разложения военкома Смирнова, покрытого воинскими заслугами на гражданской войне, но не мирящегося с подчинением в мирной обстановке. Сцена пьянки, устроенной «оппозицией», не желающей подчиняться курсовому режиму—одна из лучших в повести.

Не будем дальше перечислять несомненные художественные ценности, рассыпанные в повести и дающие нам основание причислить ее к лучшим достижениям нашей пролетарской литературы. В заключение отметим лишь с радостью, что уже в самой повести имеются доказательства близости Либединского к разрешению задачи выше нами намеченной,—задачи научения прислушиваться к жизни в своей художественной работе. Очень хорошо ищет у него Миндлов слова для определения классовой сущности крестьянства. Этого определения не сумел дать слушателям лектор, и вот Миндлов, как руководитель, безуспешно пытается восполнить пробел. Мы уверены, что Либединский найдет за него соответствующее художественное определение и выразит его на языке своих крепких образов. Это будет огромным (и совершенно необходимым для роста) расширением его художественного опыта. Но оно возможно лишь при выполнении Шалавинского совета.

Мы не будем здесь касаться целого ряда повестей и рассказов, принадлежащих нашей молодежи, из которых многие заслуживают быть отмеченными. Упомянем лишь некоторых. Таким примечательным явлением мы считаем повесть Губера: «Шарапкина контора», дающая тему о взаимоотношении города и деревни своеобразную интимно-психологическую трактовку. Повесть обнаруживает прекрасные данные молодого писателя со стороны языка, образности, яркого чувства бытовой среды и ее оттенков и незаурядные возможности в деле психологического построения повести. Приходится лишь отметить насильственность развязки, разрешающей затруднения по принципу *deus ex machina*.

II.

Литература «попутчиков» в этом году и по темам и по их внутренней разработке в общем значительно сблизилась с пролетарской литературой. С радостью приходится отметить, что лучшие в художественном отношении произведения этой группы дышат тем же социальным воздухом, что и произведения литературы пролетарской.

В первую очередь это относится к прекрасному роману Л. Леонова «Барсуки». О художественных достоинствах этого произведения, являющегося, несомненно, одним из крупнейших достижений советской литературы, писалось уже не мало. Здесь нам хотелось бы только отметить, что художественный успех Леонова, его писательский рост идет параллельно уточнению идеологической ориентации. Еще недавно талантливый писатель неудачно эпигонствовал под Достоевского в «Конец лишнего человека» или—в «Записках Ковякина»—под Лескова, правда, на этот раз с гораздо большим художественным успехом. Но только сосредоточение его художественного внимания на животрепещущей теме сегодняшнего дня—на теме о роли крестьянства в революции—позволило ему развернуть все свои писательские возможности. «Барсуки» радуют мужественной четкостью мазка, большим и жизнерадостным бытовым насыщением всей вещи и осмысленным ее разрешением. Конечно, и в «Барсуках» есть недостатки и довольно крупные, главным образом, в об-

ласти композиционной; кроме того, в них сильна еще зависимость писателя от учителей—Лескова и Горького. Но при всех недостатках, понятных в первом зрелом произведении писателя, роман нельзя не признать большим шагом вперед, сделанный их автором в области его художественного и общественного самоформления.

И. Бабель и в этом году продолжал давать очерки из своей книги «Конармия». Кроме того, отдельными сборниками вышли его рассказы из той же серии, а также из серии «одесских рассказов». Тщательный, вдумчивый мастер, Бабель выделяется среди лучших наших писателей глубокой проработанностью форм. Кроме того, у него острый художнический глаз на детали внешнего мира и мира внутреннего. Нам представляется, что на этом пути, по которому может и должен идти художник, есть своя опасность: опасность топтания на месте, замораживания своего дарования в своеобразном эстетизме. Что эстетизм есть болезнь Бабеля, тщательно прикрываемая нарочитой подчас грубостью избираемого им материала, это является нашим глубоким убеждением. Даже изображая ультра-реалистический быт Конармии, предельно заостряя этот реализм, Бабель не перестает использовать изображаемый им кусок жизни, как средство для разрешения эстетической литературной задачи. Путь реализма—от жизни к искусству. Но Бабель всегда идет от искусства к жизни. Первое у него является приматом над второй. Что это так, показывает его рассказ «Первая любовь», насыщенный эксцентризмом и эротикой, не находящей себе хотя бы призрачного оправдания в материале, как это имеет место в рассказах Конармии. Полагаем, что и Конармия могла бы быть изображена в других, менее эксцентрически-заостренных и более реалистических тонах, с гораздо большим приближением к действительности. Утверждая это, мы имеем в виду отнюдь не замалчивание эксцессов, которые, конечно, не могли не иметь места и которые, следовательно, художник уполномочен изображать во всей наготы, но общую трактовку всего быта. Нам кажется, что Бабель—несомненно крупный художник—рано или поздно почувствует, что надета им на себя броня эксцентризма и эстетики стесняет его: не даром лучшее, что им до сих пор сделано, относится к темам, наиболее близким современности.

Быть может, ни на ком из современных писателей не сказывается так ярко плодотворность для их мастерства сближения с живой современностью, как на П. Романове. Хочет или не хочет этого писатель, но лучшее, что он дал до сих пор—это несомненно его рассказы о деревне («Три кита» и др., «Черные лепешки») и довольно тонкие, хотя и склоняющиеся подчас к бессодержательности, юмористические рассказы о транспорте и мещничестве в год разрухи. Письмо П. Романова несколько расплывчато, интересная установка темы то и дело расплывается в неопределенной сентиментальности, притупляющей иной раз первоначальную заостренность вещи (см. напр. «Черные лепешки»). Но при всем том бытовизм его освещен мягким юмором, не лишенным лукавства, и он обливает его вещи, может быть, и не очень ярким, но облагораживающим светом. А серию деревенских рассказов мы считаем социальной зарисовкой значительного охвата. Но стоит писателю оторваться от современности, как он преподносит нам безвкусицу и, да позволено будет сказать, пошлость, в виде «Рассказа о любви», где фальшиво и ненужно все с начала до конца, и в первую очередь все эти невинные «весенние» девушки,

отдающиеся в момент девственного поэтического припадка неизвестным инженером в вагонном купе, и глядящие затем широко раскрытыми от ужаса наивными глазами, когда инженер, получив свое, отворачивается от ненужного ему, в сущности, знакомства. Смеем сказать твердо и определенно: если П. Романов хочет быть художником, он не должен отходить от сегодняшнего дня. Ему этого нельзя, по крайней мере, в настоящее время.

С сожалением приходится отметить, что выступление Л. Сейфуллиной с новым произведением в этом году не является удачным. Уже три тома собрания ее сочинений (изд. «Современные проблемы») с достаточной ясностью показали, что Л. Сейфуллина—писательница от земли и от мужика. В этом вся ее сила и вся ее слабость. Все, что относится на страницах Сейфуллиной к тяжелому, спертому, но сильному своей жизненной насыщенностью крестьянскому быту—дано превосходно. В этой области она умеет давать не только яркие изображения статических бытовых форм, но выслеживать и обновляющие жизнь тенденции. Но стоит ей заговорить о городе или о людях городской культуры, как рисунок ее становится штампованным, психологизм—поверхностным, тон—натянутым и манерным. В подавляющем большинстве случаев писательница дает в этой области упрощенную агит-кариатуру. Это тем более бросается в глаза, что поневоле приходится сопоставлять обе эти стороны творчества писательницы (деревенскую и городскую), поскольку одним из любимых ее приемов является переплетение их в одной и той же вещи. При этом яркая, «внутряная» художественная завершенность деревенского материала только оттеняет поверхностность обработки материала городского. Все эти черты творчества Л. Сейфуллиной ярко сказались в последней ее повести «Встреча». История Виктора Кандырина, сперва крестьянского мальчика, потом за смертью отца—«балакаря»-приживальщика у богатого барина в городе, потом санитаря на войне, наконец, военного доктора-самозванца в обстановке Октября,—композиционно не оформлена. Стиль повести (особенно в начале)—искусственный «под мужика». Интеллигентны все изображения заказными мерзавцами. Главное действующее лицо, задуманное, как некий «первертень»—ни мужик на земле, ни слуга у богатых господ—вырисовано неотчетливо. В целом повесть не принадлежит к удачным произведениям Л. Сейфуллиной. Но и в ней есть самоцветы ее дарования: таково, наприм., описание провинциального города в 5-ой главе, социально-четкое и художественно сделанное из одного куска; таковы все массовые крестьянские сцены; таково яркое противопоставление потных ног у фронтального работника Андрея чистоте тех, кто приехал из тыла; таковы и солдатские сцены (особенно ярка сцена с проституткой) и т. п. Словом, и здесь мужичья стихия и ее разнovidность—стихия солдатская—составляют безусловно ценное художественное содержание вещи. Неудача Л. Сейфуллиной, конечно, отнюдь не свидетельствует о ее писательской исчерпанности: у ее дарования есть питательная социальная среда. Но писательнице необходимо, повидимому, нащупать какие-то новые пути художественного претворения своего материала.

В. Иванов в текущем году дал новую повесть из жизни тайги «Хабу» и ряд экзотических рассказов, ранее опубликованных, а теперь собранных в отдельную книжку. К этой серии примыкает и «Пустыня Тууб-Коя» (рассказ, опубликованный в альманахе «Круг» № 4). «Хабу» представляет собой шаг вперед,

сделанный автором по пути уяснения сюжета и увязки своего мастерства с задачами трудового жизнестроительства. Направленность повести в сторону победы труда над стихией (в горном крае Сибири проводят прямую дорогу от окружного города Айкена до медных рудников) оказывает самое благотворное влияние на манеру В. Иванова. Язык его, нередко испытывающий затруднения (и заставляющий читателя их испытывать) именно в силу своего богатства, здесь находит нужное сочетание возможного и необходимого, ту гармонию, которая диктуется ясно сознанным художественным заданием. Природа, подчас надвигающаяся тайгой на страницы писателя, здесь заключена в границы социального, вступившего с ней в успешную борьбу. Сюжет устремляет свои зигзаги к некоторому единству. Все это делает повесть произведением продуманно-реалистическим. Конечно, и здесь Вс. Иванов далеко не свободен от обычных своих недостатков. Исключительность, ему свойственная, и здесь не исчезла вовсе. И здесь подвиг еще слишком индивидуален. Исключительна прежде всего самая его обстановка. Коммунист Лейзеров нарисован гротескно, как чудак-утопист и если не столь «геометричен», как поддельные коммунисты Эренбурга, то все же в достаточной мере «кустарно»-фантастичен. Преодолеть эту внутреннюю недоработанность в последующих произведениях—очередная задача писателя, для разрешения которой у него достаточно данных.

«Экзотические рассказы» Вс. Иванова (с присоединением к ним рассказа «Пустыня Тууб-Коя») в большинстве случаев представляют из себя крепко-сделанные, мастерски-развернутые, тонко словесно-обработанные степные легенды или действительные случаи, превращенные в степную легенду, в манере своеобразно, по-Ивановски, преломленного песенного эпического сказа. В большинстве случаев они свидетельствуют о силе его мастерства.

Очень хороши и рассказы В. Лидина, собранные в книжку под названием «Норд». Выработанность их, несомненно, гораздо выше, чем «Морского Сквозняка» или «Маленьких будней». Каждая страница, развертывающаяся перед нами жизнь крайнего севера России и Скандинавии, дает определенное ощущение, что автор нашел здесь свою тему. Именно это обстоятельство сообщает его повествовательному тону цельность, выдержанность и благородную экономию художественных средств. В лучших рассказах книжки (наприм., «Йнга») автору удается своего рода художественное открытие: возможность вывести свою тему, развернутую в столь специфической обстановке, из интересов, волнующих современность. Это, в свою очередь, сообщает книжке определенный художественный вес.

К. Федин в своей «Наровчатской хронике» дает снимок с жизни провинциального города в годы гражданской войны. Последняя—за пределами повести. Внимание автора сосредоточено на ломке старого быта в городке. Оригинальность подхода К. Федина к своему материалу в том, что повествование ведется в форме записок послушника местного монастыря. В ряде бытовых картин автор раскрывает перед читателем несостоятельность аскетического мирозерцания перед лицом, даже и в этом городке, яркой и бушующей жизни. Повествование ведется в мягких тонах, с любовным, в духе Лескова, вниманием к мелочам быта и психологии, которые при этом вырастают в значительности и яркости. В повести, во всяком случае, дан интересный подход к современности, хотя кое-что предвосхищено Леоновскими «Записками Ковякина»

III.

Одной из характерных черт настоящего литературного года является сдвиг некоторых авторов, доселе чуждых современности или внутренне протестовавших против нее, в сторону последней. Из таких писателей мы отметим здесь В. Пильняка и А. Белого.

О В. Пильняке писалось немало отрицательного, и в большинстве случаев недостатки его отмечались верно. Отрыв деревни от города, культ дичины и лаптя, своеобразный мужицкий национализм, каким-то углом своим соприкасающийся с византизмом, искусственное вздувание роли пола в общественной жизни, признание беспомощности творческой воли человека перед лицом стихий—природы и социальности,—все это делало писание В. Пильняка чуждым для всякого, кому дорого было строительство по-октябрьской России и кто твердо верил в неизбежность победы организующего начала над временно развязанными центробежными тенденциями в стране. В настоящее время уже достаточно выяснилось, как нам кажется, что раздор между художником, с одной стороны, и живым строительством современности, с другой, обещает быть временным. Последние литературные выступления В. Пильняка («Машины и волки», повести «Мать Сыра-Земля» и «Заволочье») еще раз свидетельствуют, во-первых, о большом художественном даровании автора и, во-вторых, о его несомненной писательской честности. Оба эти обстоятельства не могут не привести его, и приводят на деле, к оформлению своей внутренней художественной направленности по линии творческой общественности сегодняшнего дня, а не в сторону от нее. Если в «Голом годе» и др. ранних своих произведениях В. Пильняк давал волю центробежным тенденциям своего творческого пути, что приводило его к громадной художественной неустойчивости, выливавшейся в рабское преклонение перед всем, что «бабича-жизнь» ни подсовывала под его художнический взгляд, то в последних его произведениях мы видим определенное усилие к внутреннему преодолению этой разбросанности, к собиранию своей художественно-общественной личности, путем критического отбора и взвешивания накопленного многообразного материала. Нам представляется, что этот сдвиг продиктован писателю двумя движущими причинами, которые неизбежно встречаются где-то в глубине личности художника: с одной стороны, это—организующее влияние общественной среды, уже окончательно выявившей свои собирательные и зигадительные тенденции; с другой, это—сознание самого художника, что на пути отдания себя, своей творческой личности во власть жизненных стихий и самодовлеющего материала ему грозит утрата собственной цельности.

И вот мы присутствуем при энергической попытке В. Пильняка собрать воедино самого себя, как художника, путем собирания своего материала и проведения в дебрях последнего новых путей, открывающих писателю выход в жизнь, какую она является в действительности, а не в произвольных общениях ее, в свое время произведенных художником по своим собственным прихоти и пристрастию. Таким собиранием материала для новой его переоценки является книга «Машины и волки», которую сам автор не считает возможным назвать романом, а лишь материалами к нему. Трудно дается писателю взятое им на себя предприятие, спору нет. Но необходимость усилия осознана, и результат уже не замедлил явиться: от прежнего мужицкого

национализма, возведенного в принцип, уже нет и следа. Здесь он проявляется лишь, как лирическая жалоба, и ярко сопоставляется с организующим началом страны. Художнику еще очень жаль «волков», именно в их волчьей дикости, ибо в ней-то и чудится ему по старинке некая вещая тайна. Но машина явно преодолевает. И здесь ее вступление воспринято не как насильственное и разрушительное вторжение в жизнь, а как неизбежное выявление внутренних тенденций самой жизни. Недаром Человек с большой буквы присоединяется здесь к тем, кто не с волками, а с машинами. А ворвавшаяся в уши художнику симфония фабричных гудков над Россией в Ленинские дни явно заставляет его предпочесть «Руси», «Расей» и т. п. волчьей стране подлинно-человеческую и машинную «Россию».

Труден путь Б. Пильняка, продирающегося из топей и волчьих нор «Расей» в эту новую страну. Но известно, что каждый придет к ней своим путем. Трудности, стоящие перед писателем, заключаются отнюдь не в органической глухоте его к фабричному гудку, а в богатстве «растительного» элемента в его художественном даровании, колоссально обогащающего его, как художника, но требующего усиленной обработки именно в силу своего богатства. Когда писатель органически дойдет до понимания, что машине суждено не истребить «волчью» природу, а перековать ее на человеческую, в его творчестве откроется новая страница.

Преодоление стихии составляет также тему повести Б. Пильняка «Заволочье». Написана вещь сильно, она проще, благородней и суровей, чем более ранние его вещи. Но и здесь тема не разрешена, да, быть может, и не могла быть разрешена на столь исключительном материале, как путешествие полярной экспедиции. Так что и «Заволочье», да и «Мать Сыра-Земля» (где тема—охрана Советской властью заволжских лесов в годы гражданской войны) должны быть рассматриваемы, как промежуточные этапы творческого пути писателя между двумя пунктами, которые мы пытались наметить.

Стоит вспомнить выступления А. Белого года три тому назад в «Записках Мечтателей» и сравнить их с печатающимся в альманахе «Круг» романе его «Москва» (пока опубликованы 2 первые главы 1-й части), чтобы притти к необходимости признать и у этого писателя наличность сдвига в сторону современности. Предисловие объясняет читателю, что роман будет в 2 частях. 1-ая часть имеет задание показать, что многое уже в дореволюционной Москве стало кучей песку и развалиной. Задание второй части—показать, как эта развалина «рухнула в условиях после-октябрьской жизни». Судить о глубине сдвига А. Белого, который впервые, если не ошибаемся, ставит себе художественное задание, столь тесно связанное с современностью, можно будет лишь после опубликования второй части романа. Там, вероятно, будут поставлены все точки над и, там определится, что именно понимается Белым в старой Москве, как отжившее, и какое разрешение получает конфликт старого и нового в понимании художника. В первой же части явно отрицательными чертами, не без привкуса сатанинства, обрисованы: немецкий шпион Эдуард Эдуардович фон-Мандро, ведущий в Москве, под видом легальных финансовых, как-то темные дела, выкрадывающий у проф. Коробкина тайну какого-то математического открытия; затем его помощники, люди определенных занятий,—мещанин Грибиков и некий безносый карлик; осмеивается также любитель пустых фраз, либеральный профессор Задопятов и т. п.

Трудно судить по первым двум главам, как развернется действие дальше. Но и сейчас уже можно отметить, что, оставаясь на данном уровне социальной углубленности, не вводя уже теперь в картины старой Москвы того элемента, из которого впоследствии создалась Москва новая, и не углубив этим противопоставлением свое отрицание «песка и развалин», А. Белый рискует оставить свои обличения висящими в воздухе, без насыщения их конкретностью жизненных противоречий. «Дьявольский» и «русалочный» стиль его обличительных образов заставляет нас несколько тревожиться за значительность произведения. Будем надеяться, что наши опасения не оправдаются: тогда мы получим оригинально-выполненное произведение, с глубокой трактовкой действующих лиц, т. к. при всей внешней путанности своей ритмической прозы (впрочем, довольно легко расшифровываемой), А. Белый дает здесь свежий и энергично обработанный материал.

К сожалению, совершенно внешне обнаруживается тот же сдвиг у А. Толстого. Его роман «Гиперболоид инженера Гаршиа» (идущий в журн. «Красная Новь» и еще неоконченный печатанием), как теперь уже достаточно определилось, является достаточно шаблонным приключенческим романом на обычной для этого сорта литературы отвлеченно-авантюрной (и набившей оскомину) основе. Талант Толстого заставляет его наполнить безжизненный замысел подробностями, из которых многие сочны и яркие. Но даже по-Толстовски выхваченная из жизни Советской России подробность еще отнюдь не делает произведения органическим выражением жизни страны (или хотя бы ее уголка). А. Толстой в этом своем романе совершенно обходит внутреннее сближение с той жизнью, о которой и для которой он пишет. В результате даже его реалистическое дарование бессильно загородить от читателя внутреннюю пустоту произведения.

IV.

В области крестьянской литературы отметим роман С. Клычкова «Сахарный немец».

С. Клычков и в прозе своей, как в стихах, обнаруживает себя прежде всего обладателем неисчерпаемой сокровищницы русского «мужичьего» языка, быть может, самого богатого из всех языков в мире. И это, очевидно, отнюдь не является у него результатом длительной работы над собой, как у других художников. По всему видно, что С. Клычков над своим искусством работать не любит. Да это ему словно бы и ни к чему. Искусство Клычкова носит как бы «растительный» характер. Его словесная ткань, слагающаяся в узорные образы, растет как колос из чернозема, ткется как рассказка солдата Прохора Пенкина, на своем веку немало потрудившего спину и руки на земле, побывавшего и в хлыстах, и вот теперь поучающего своих товарищей—таких же мужиков, одетых в серые шинели и натравленных против «немца»—мужичьей правде, облеченной в ласковые и причудливые формы живого народного рассказа. Сам Клычков, как крестьянский художник, еще не выдулился из скорлупы безличной, из уст в уста передаваемой народной сказки: нет-нет да выскочит у него на страницу «романа» тот или иной ее образ, да не заимствованный, а созданный им же самим в минуту забвения, что пишется-то ведь «роман», как в подзаголовке поставлено, а не сказка рассказывается. То в простом крестьянском самоваре почудится ему король, на голове у ко-

роля корона, которую он снимает, вешает на левое ухо и приподымает медную мантию с плеч. Король пыхтит и сопит, когда в его королевскую утробу льют горячую воду и кормят ее горячими углями, потому что для чашевников одного самовара нехватало, пришлось доливать. То дьякон с Николы-на-Хотче обернется чортом рогатым, и напрасно уверяет он, что рога у него— по особой причине семейного характера: все обличие его, поступки и речи говорят, что он чорт.

Художник-крестьянин одушевляет своим взглядом все вокруг. И в этом он верен традиционному воззрению крестьянской поэзии на окружающее, а также собственным инстинктам человека, интимно связанного с природой и зависящего от нее:

«На крутом повороте ели и сосны уходят в густую чащу и на опушке толкаются, упираясь сучьями в пышные бедра и груди друг другу, лесные вековухи—голенастые липы, шумихи-березы, ивы-плакучие вдовы и с знойным румянцем на щеках солдатки-осины».

Порой повествование уклоняется в подлинную фантастику и в бредовые видения, но столь прозрачные, что они служат лишь легким покровом реальности. Охотно Клычков пользуется также приемом вставного рассказа, но всякий раз для того, чтобы ввести в свой роман ту или иную философскую мужичью сказку, мораль которой, несмотря на причудливость облекающих ее образов, всегда ясна: крепко не любит мужик бар и попов, жадно любит землю и труд на ней, стонет от войны и тоскует по «Счастливому озеру», по «блаженной, счастливой, разголубой стране».

«В этой стране нет лиходейства и злобы, коней там седлают только под пашню, да только когда едут в гости друг к другу, ни кнутом по голове их не бьют, ни по глазам кулаком...

«Ни темниц, ни острогов там нету, и одна есть только темница в самом сердце страны, а под темницей есть подземелье, и в том подземельи томится колодница-смерть...

«Царя у них нет, царицы и век не бывало, пастух там выше министра, церкви там строят лишь для того, чтоб в них запирать молодых на первую ночь, оттого приплод здоровей и красивей, а если кто хочет молиться и душу в молитве излить—для того за околицей лес, над лесом купол зеленый, по лесу лиственный звон и постлан под ноги ради молитвы мшистый узорный подручник.

«Налогов, поборов покоен ни полушки...

«Вот только трудно проехать туда и пройти...

«Ни проходу туда пешеходу, ни проезду туда ямщику».

Мы даем эту длинную выписку, потому что в ней полностью выражено миросозерцание действующих лиц романа и самого автора вдобавок. Легко видеть, что этот мужичий социализм всеобщего равенства перед лицом общей кормилицы-земли далеко не совпадает с идеалами нашей эпохи,—приблизительно в той же мере, в какой соха не поспекает за трактором. Но тракторов у нас мало, а соха худо или хорошо, но пока что принимает громадное участие в возрождении страны. И с этой точки зрения всякое выявление миросозерцания от сохи интересно и значительно. Еще существенней, что и в этом миросозерцании, еще не видоизмененном трактором, заключается благодарный материал для его обработки. Пусть классовое расслоение в романе Клычкова не углубляется дальше противоречий между барами и полами, с одной стороны, и крестьянством.—с другой. Пусть работа у машины предстает здесь

перед нами в виде некоего дьявольского навождения («побежали возле колес машинист с большими рогами и кочегар, у которого хоть рог не было видно, но зато так он был весь черен, и на лице было столько размазанной масляной сажи, что при свете горячей пакли на небольшой палке у него в руке, он без труда мог сойти за полчорта»). Пусть большой город у Клычкова—царство дьявола («Город, город! под тобой и земля не похожа на землю... убил, утрамбовал ее сатана чугунным копытом, укатал железной спиной, катаясь по ней, как катается лошадь по лугу в мыти...»). Пусть, наконец, наука представляется героям Клычкова порождением «барской зевоты». Но упорные искания правды-справедливости, отвращение к мировой войне, признание производительного труда основной жизненной ценностью, презрение к церковности, трезвый, язычески-радостный подход к глубочайшим жизненным проблемам, об'явление буржуазии «выдуманными людьми»—все это делает крестьянское выражение классового мировоззрения трудящихся неотделимородственным его осознанно-пролетарскому выражению. Только стоя обеими ногами на почве этой здоровой и жизненно-богатой крестьянской стихии, смог С. Клычков, на ряду с россышью сказочно-песенных символов, дать в своем романе ряд картин яркого реализма (напр., окопные сцены, трагедия «Пелагеи Прекрасной»).

«Сахарный немец», во всяком случае, явление значительное как в отношении художественном, так и социальном.

V.

В заключение нам хотелось бы отметить ряд произведений, оставшихся неусвоенными организмом нашей литературы и пребывающих в ней, как некое инородное тело. Примером их могут служить: повесть М. Булгакова «Роковые яйца» и отчасти его же роман «Белая гвардия».

Мы далеки от того, чтобы видеть в произведениях М. Булгакова осознанную и выраженную в прикровенной форме контр-революцию. М. Булгаков представляется нам писателем совершенно идеологически неоформленным и, при своем очевидном художественном даровании, занятым, пока что, пробой пера. Такой пробой пера, или, вернее, стрелой, пушенной в пространство наугад, без определенно-намеченной цели, кажется нам и его повесть «Роковые яйца». При всей готовности вычитать из нее какую-нибудь определенную мысль, тем паче какое-то отрицание нашего строительства, как это советует нам сделать один из критиков, признаемся, мы сделать этого не смогли: слишком плохо сведены в повести смысловые концы с концами. Может быть, вот это-то обстоятельство, при одновременном наличии в повести яркой и убедительной для глаза художественной ткани, наталкивает критика на мысль, что это-де не просто. Не иначе, как тут притаилась тенденция. Но мы при чтении повести никак не могли отделаться от одного образа, произведшего на нас очень сильное впечатление на страницах романа того же автора «Белая гвардия». Киев занимают петлюровцы. В одной части города уже идут ожесточенные бои. Петлюровцы занимаются ловлей белых офицеров и юнкеров. Юнкер Николай Турбин бежит в ту часть города, где все еще сравнительно спокойно. В своем стремительном бегстве он натывается, между прочим, на такую картину:

«У самого спуска на Подол, из под'езда большого серокаменного дома вышел торжественно кадетишка в серой шинели с белыми погонами и золотой пуговицей «В» на них. Глаза его бойко шныряли по сторонам, и большая винтовка сидела у него за спиной на ремне. Прохожие сновали, ужасом глядели на вооруженного кадета и разбегались. А кадет постоял на тротуаре, прислушиваясь к стрельбе в верхнем Городе с видом значительным и разведочным, потянул носом и захотел куда-то двинуться. Николка резко оборвал маршрут, двинул поперек тротуара, напер на кадетика грудью и сказал шопотом:

— Бросайте винтовку и немедленно прячьтесь.

Кадетишка вздрогнул, испугался, отшатнулся, но потом угрожающе ухватился за винтовку. Николка же старым и испытанным приемом, напирая и напирая, вдавил его в под'езд и там уже, между двумя дверями, он внушил:

— Говорю вам, прячьтесь, я—юнкер. Катастрофа. Петлюра город взял.

— Как это так взял?—спросил кадет и открыл рот, при чем оказалось, что у него нет одного зуба с левой стороны...»

Да простит нам автор нашу бесперемонность, но по прочтении его произведений (которые доставили нам большое художественное наслаждение) у нас осталось подозрение, не написаны ли они вот этим самым юным героем, у которого еще не успел вырасти один зуб с левой стороны, но который уже вооружился винтовкой, чтобы стрелять, куда—это точно едва ли известно ему самому. Преимущество М. Булгакова перед его кадетом в том, что в конце концов Город был взят не петлюровцами, и смысл событий может быть теперь выяснен не в разговоре с бегущим без оглядки белым юнкером, а более спокойно, вдумчиво и по существу. Это дает нам возможность надеяться, что дарование М. Булгакова рано или поздно определится, примкнет к жизни подлинной России, пережившей Октябрь, и ему уже не придется рядить неопределенность своей идеологии в пестрые одежды памфлета, направленного в безвоздушное пространство.

Д. ГОРЬБОВ.

ОТЗЫВЫ О КНИГАХ.

Иван Доронин. «Лесное комсомолье». Госиздат, 1925 г. Стр. 87, тир. 7000 экз.—**Михаил Голодный.** «Дороги». Библ. раб.-кр. молод. Изд. «Нов. Москва», 1925 г. Стр. 63, тир. 2000 экз.—**С. Малахов.** «О партии, о любимой и о другом». Изд. «Мол. Гв.» 1925 г. Стр. 80, тир. 3000 экз.—**Макар Пасынок.** «Под солнцем». Библ. раб. кр. мол. Изд. «Нов. Москва», 1925 г. Стр. 48, тир. 5000 экз.—**Я. Шведов.** «Разлив». Изд. «Моск. Раб.» 1925 г. Стр. 115, тир. 5000 экз.

Все рецензируемые книги имеют одно общее свойство: авторами их является комсомольская молодежь, всего только несколько лет практикующаяся в поэтической речи, но, несмотря на недолгий срок, уже выявляющая свое особенное, неотделимое от революции, лицо. Все авторы умеют, во всяком случае, прилично делать свои стихи (некоторые больше, чем прилично — мастерски! — Доронин), и только у двоих из них — С. Голодного, Малахова — приходится отметить элемент подражательности, а у поэта Шведова небрежную отделку вещей.

Иван Доронин сам себя называет советским Кольцовым. Но, используя, по примеру Кольцова, форму народной песни, поэт сумел эту песню насытить острыми социальными темами современности и обогатить песенную форму всеми достижениями поэзии нашего дня. Комсомольская любовь, рвущая семейные оковы, новая девичья и бабья судьба, не признающая в любви запрета — вот основная тема поэм и стихов Доронина. Поэт сжился с кре-

стьянским миром; он на своей шее испытал все прелести рассчетливого мужицкого быта и тысячелетнему изыному Домострою об'явил «последний и решительный бой». Изредка героини Доронина ведут бой средствами агитации, убеждения, но чаще дело кончается развалом старой семьи, уходом (ст. «Уход», «В Советских степях»).

При своей в полном смысле слова общедоступности и идеальной простоте, стихи Доронина захватывают всякого — в том числе и высоко квалифицированного читателя. Секрет захвата заключается в том, что они насквозь пропитаны «погожим днем», запахом цветистых лугов и полей. Доронин тщательно отделяет стих: тонко продуманы и насыщены крестьянским бытом образы, ручейком журчит песенный ритм. В его лице наша поэзия имеет одного из богатых мастеров современного стиха.

Сборник «Дороги» составлен из ранних, без всякой системы подобранных стихов Голодного, по темам ясно делящихся на два отдела: стихи о «железе и революции» и комсомольские песни. Первый отдел стихов о революции, хотя и выдержан идеологически, но полон избитых шаблонных образов, восклицаний и во многих местах ясно подражателен (влияние символистов, стчасти поэтов «Кузницы»). Комсомольские песни поэта гораздо более самостоятельны. В них довольно ярко начинает проглядывать свое особое лицо — лицо комсомольца-пессимиста, певца «осенних переделов» и смертных разлук (стихи: «Здравствуй, грусть,

она, эта проклятая революция,—ужас! Мираж! Бред! Дым! Ах, это было страшно! «Именье пропало, мужики сидят в барском доме. Ну, что такое—извините за выражение—Россия? Нужник, и больше ничего». (Рукопись, найденная под кроватью.)

Эта жуткая картина бессильной злобы, жалких проклятий немощной клеветы особенно сгущается, когда автор обрисовывает жизнь бежавшей белой армии, посаженной на остров Халку. Здесь взаимная ненависть, мучительная вселюба мелких страстей, всеобщая трусость и подозрительность доходит до последних возможных пределов. Ненавидят Антанту за то, что «сволочь» выдает для еды каких-то кроликов, а это не кролики, а, по-настоящему, кошки; да и консервы из обезьяньего мяса. Ненавидят Россию. Подозревают, что подполковник—большевик («я большевик—не угодно ли?.. Ведь обидно как-то, а?»), а сам полковник подозревает, что поэт Санди—тайный шпион, и поэт убивают, а в кармане у него записка: «боюсь... непонятно... меня здесь принимают за большевицкого шпиона» («На острове Халки»).

Знает А. Толстой и послевоенную Францию, мир рантьево, возмущенных медлительностью Германии в ущерб репарации («Мы их заставим платить, чорт меня возьми с кишками... Я требую занять Рейн»), мир деклассированных войной суб'ектов, тоскующих по веселым дням, когда можно было искрошить в куски тысячу пятьдесят проклятых бошей, пить цельное вино и курить прекрасный табак. («Убийство Антуана Риво»). Знает он и русско-немецкого шибера, человека неизвестного происхождения, для одних—воспитанника Мюнхенской академии, для других—петербургского кутилу из семьи хлеботорговца, для третьих—торговца ваксы на улице Америки, незаконного сына некоего знатного лица. Он одновременно—организатор тайного банка, огромного издательства, комфортабельных публичных домов, покровитель писателей, хозяин людей, выброшенных с торной дороги жизни, и жених очаровательной Сони Зайцевой. Но, когда его дела запутываются так, что лучшим исходом будет пуля, то от всех невероятных предприятий останется

одна несомненная драгоценность—золотая челюсть на століке близ трупа.

Вот этот круг явлений—эмиграция, французские рантьево и немецкие шиберы—это то, что наиболее красочно и рельефно умеет изображать Толстой. Но лишь только он выходит за пределы привычной ему сферы наблюдений, как талант его меркнет, тускнеет. За последнее время фантазия привлекают социальные фантазии Уэллсовских романов. Он отдает им дань в своей «Аэлите». Крупнейший рассказ, давший название сборнику—«Союз пяти», написан в том же стиле. Здесь, впрочем, влияние Уэллса едва ли не смешалось с воздействием «Треста Д. Е.». Уж слишком напоминает Эренбурга история союза пяти миллиардеров, решивших измучить страхом гибели Европу, чтобы закупить акции ее. И конец истории весьма неожидан и совершенно коммунистичен: когда миллиардеры обзавелись всеми богатствами мира, является космополец и предлагает им очистить помещение под клуб... Весело, легко и просто! Беда лишь одна—слишком просто.

Сборнику рассказов Толстой предпослал обстоятельное предисловие, которое сводится к тому, что искусство зависит от потребностей читателя, что, именно, читатель определяет развитие литературы, что современный читатель непохож на старого и что писать надо «честно, ясно, просто, величаво». Все эти истины очень почтенные, но слишком несомненные. «Открывать» их не стоило. Толстой безусловно пишет «честно, ясно, просто». Но «величавости» в нем что-то не видно. Книжку его рассказов можно прочитать с немалым художественным интересом. Но она ничем существенным не отличается от последних его произведений и трудно видеть в ней какой-то поворот только оттого, что автор снабжает ее многозначительным предисловием. Мы ценим и любим Толстого—зарисовщика разлагающегося дворянства. Но когда он, для пушей «величавости», разрешает в утопических романах жгучие проблемы современности, то это получается, конечно, вполне «честно», но не слишком «ясно» и чересчур «просто».

Б. В. Нейман.

Вл. Лидин.—«Голубое и желтое». Изд. «Пучина». Ленинград—Москва. 1925 г. Стр. 169.

Вл. Лидин—приятный рассказчик, в меру наблюдательный, с острым чувством природы и достаточно крепкой техникой.

Любит он широкий сюжет вложить в несколько страничек крохотной новеллы, в острой зарисовке, в резких и метких штрихах схватить бурлящий поток переплетающихся событий. В этом смысле наиболее характерен первый рассказ. «Повесть о многих днях»—лучшая вещь во всем сборнике. От войны империалистической, через февральскую революцию до Октябрьской, сквозь множество интриг и взаимоотношений, от рязанского мужика, крутящего в окопах ковыю ножку, до Нины Рогожиной, припадающей сладострастно к голой груди своей подруги, от митинга на фронте до «мистического старца» Фаддея Ивановича (Распутина),—по всему простору дней и мест раскинувшейся России передвигает нас автор.

При этом стремлении к обилию разнообразного материала важно уметь схватить самое главное, самое существенное, схематизируя вещи и явления до одной, но выразительной черты. Дар этот есть у Лидина, но опять-таки ярче всего проявляется он в первом его рассказе. Остро схвачены им громоздящиеся картины, проносящиеся мимо нас с кинематографической стремительностью: мутнеющее утро в городе, пахнущем хлебом; адвокат, который после бессонной и беспутной ночи едет переодеваться перед выступлением; присяжные, пьющие чай в ожидании суда; об'ездчики беговых лошадей; боксеры... Особенно остро схватывает Лидин картины природы, преимущественно тадой весны, ее звенящей нежности. Хороши еще нежно-апрельские вечера над Камой («Земля»); зимний вечер в немецком городе («Чадок»).

Все эти схваченные детали, в особенности детали событий, людских взаимоотношений Лидин любит противопоставить друг другу, заострить резкой противоположностью. Признаться, как и всякий чрезмерно повторяемый прием, и эта антите-

тичность под конец начинает надоедать. Прочитав один-два рассказа, мы уже заранее знаем, что каждому положению найдется свое противоположение, и не без равнодушия ждем его. После газовых юбочек танцовщиц обязательно будет голод и холод отступающих полков («Повесть»). Коль матрос победил сердце черненькой машинистки, то уж заранее можно сказать, что закрутит его и погубит крупоплечая челдонская девка («Голубое и желтое»). Коль у т. Курдыша—правда сегодняшнего дня, то у богомаза—правда старинных богоискателей («Земля»). Коль эмигрантка Маша выпустит из трубки чадок газа, чтобы погибнуть на тоскливой чужбине, то крестьянка Марья встанет ночью, чтобы вытащить из печки чадком дымящую головешку и окунуть ее в воду: сладка ее жизнь! («Чадок».) И так—езде. Мысль писателя движется от полюса к полюсу, от утверждения к отрицанию, от голубого к желтому,—недаром так и назван весь сборник.

И еще: Лидин безусловно наблюдателен и меток, когда ему приходится изображать мир старой жизни, ворошить воспоминания прошлого. Но как только он пытается набросать портрет людей сегодняшнего дня, острота его взора меркнет. Любит он говорить о большевиках, военачальниках, но изображает их достаточно блекло и беспомощно. Избегая бытовых деталей, пожалуй, мало зная их, он называет своих героев неопределенно и схематично: «правитель» («Полюнь») или просто «начальник» («Зацветает жизнь»). Из рассказов мы узнаем, что «правитель» не спит по ночам, пьет крепкий чай, близок с машинисткой. Другой «начальник» памятлив и трудолюбив, властен и единоличен, у него—звериная осторожность и тонкий ум. Но разглагольствующего адвоката, одурманенную сладострастием Мари (в «Повести») Лидин нам пока з а л, и мы ему поверили. О «правителях» же он сам говорит и к тому же так глухо, так неопределенно, так мало характерно, что в нашем сознании мелькают неясные, схематические образы, но мы их не видим, их не слышим и не верим им. Только в «Земле» Лидин заставил за-

говорить большевика тов. Курдыша. Но лучше бы уж он молчал. Ибо то, что мы от него слышим,— в лучшем случае трафаретные истины из провинциальной прессы или неясного склада рассуждений о бунте двух стихий—религиозно-народной и «другой—нашей».

Когда же Лидин пытается изобразить крестьянскую жизнь, то получается какая-то невероятной сладости сусальная картина. В его обрисовке это какой-то рай земной: в крестьянской избе веник пахнет мятой, а дрова в печи весело стреляют; изба, разумеется, опрятная; Марье весело работать; муж, разумеется, ее любит, а она—его; у них—двое родичей - сироток на воспитании; сама Марья вскоре родит второго ребенка, и все ждут этого с радостью... Хорошо писал Карамзин. Трогательно писал...

Лидин — одаренный, интересный писатель. Но ему надо бороться с однообразием приемов и острее всматриваться в современность.

Б. В. Нейман.

А. Новиков-Прибой — «Море зовет». Рассказы. Изд. третье, дополненное. «Московское товарищество писателей», 1925 г. Стр. 318.

В русской литературе, по преимуществу «с у х о п у т н о й», Новиков-Прибой занимает выгодное место среди немногих—он писатель «морской». Он знает и любит море. Многочисленные его рассказы, от первого тома до «Подводников» включительно, свидетельствуют о том, что, будучи матросом, он исколесил огромные морские пространства, сжился с самой капризной и величественной стихией, знает радости и будни матросской среды. Тематика его произведений заинтересовала многих, и Новиков-Прибой имеет свой большой круг читателей, которым писатель рассказывает занимательные вещи. При этом надо отметить, что, не выходя за пределы «морского быта», будучи глубоко правдивыми и реальными в своем творчестве, Новиков невольно примыкает по занимательности своей тематики к так называемым «авантюристам» писателям. Такова сущность жизни,

которую изучил автор. Спокойная красота безграничных морских просторов, вдруг переходящая в бурное и свирепое состояние, оторванность моряка от земли, постоянная смена впечатлений, смелость матроса, вытекающая из необходимости обуздания грозного противника, качки, штормы и крушения, постоянная настороженная внимательность экипажа к мельчайшим оттенкам настроений моря,—все это наполняет книги Новикова-Прибоя своеобразным содержанием, к тому же освещенным наивной романтикой, составляющей одну из основных черт писателя.

Книга открывается рассказом «Судьба», в котором автор знакомит читателя с детской страничкой из своей жизни: встреча с матросом, много увлекательного рассказывавшем о чужих странах, которые он посетил в своих плаваниях, предредила «судьбу» Новикова—он стал моряком. Жуток рассказ «Шалый» о странном и страшном матросе, сватившем в охапку оскорбившего его боцмана, и вместе с ним бросившимся в морские волны. Мотив для мести ясен. Но какую тайну носил в себе страшный матрос—этого Новиков не показал. Здесь как-будто ничем не оправданный психологический и сюжетный провал. Характерен для Новикова-Прибоя рассказ «Море зовет», насыщенный приключенчеством. Здесь и свирепые морские волны, и кораблекрушение, и любовь, чуть-чуть смешная, красящая суровую жизнь матроса. В «Под южным небом» та же молодцеватость и смелость матроса. Прыжок за борт моряка в самую последнюю минуту, перед отходом судна, хорошо показан. Но напрасно, кажется нам, заставил Новиков-Прибой своего героя так долго плыть к берегу, чтобы увидеться с любимой женщиной. Уменьшив расстояние, Новиков-Прибой выиграл бы в правдоподобии. Два рассказа в рецензируемой книге, «Коммунист в походе» и «В бухте Отрада» свидетельствуют о том, что Новиков умеет, оставаясь увлекательным рассказчиком, отображать революционные настроения матросской и рабочей среды. Есть, конечно, и недостатки в произведениях Новикова-Прибоя и, главным

образом, они относятся к стилю. Новиков-Прибой нередко любит излишне патетическую фразу, уснащенную «безбрежностью», «просторами» и «безднами». От этого надо, по мере сил, освобождаться. Но это—частности. В целом же—«Море зовет» читается с большим интересом. Любовью к жизни, уверенностью в победе человека над всеми препятствиями, которые выдвигает перед ним стихия, искрятся простые и сердечные страницы этой книги.

Ф. Ж.

Павел Низовой.—«В горах Алтая». Повесть для детей. Госиздат, М.-Л. 1925 г. Стр. 150.

Детская книжка—наиболее слабый фронт нашей художественной литературы. Нужда в ней колоссальная, а продукция более чем скромная. Хороших детских книг, для среднего и старшего возраста, мы имеем чрезвычайно мало. Об'ясняется это тем, что от «писателя для детей» потребовался резкий поворот в сторону от дореволюционного штампа, основные черты которого составляли приключенчество и филантропия. Против первого мы, конечно, не возражаем, если занимательная выдумка связана с наглядным, художественным подношением ребенку нужных знаний по географии и этнографии, второе же свойство—филантропия—должно быть безвозвратно сдано в архив, потому что нравственно-учебная его сущность предназначалась, главным образом, для буржуазного ребенка, которому рекомендовалось в меру быть добрым в отношении бедного и жалкого ребенка «несчастливого» пария. С передвижкой социальных групп объект благотворительности превратился в субъекта творящего, повелевающего. И, естественно, что нужны иные методы, иной подход к созданию художественной литературы для ребенка рабочего класса.

Задача оказалась не из легких. Вот почему всякая более или менее удачная книга в этой области останавливает наше пристальное внимание.

Низовой со своей задачей справился вполне удачно. Книжка «В го-

рах Алтая»—нужная, полезная. Низовой рассказывает своему молодому читателю о пятнадцатилетнем Саньке, потерявшем в борьбе рабочих с белогвардейцами отца и мать, о длинном и опасном пути его мытарства, о постепенном росте его мужества, о всяких его приключениях, прежде чем ему удалось добраться до красных партизанских отрядов. Попутно с этим автор дает интересные ландшафты Алтая, рассказывает увлекательно о жизни и нравах туземцев. От молодого своего читателя автор не скрывает жестокой действительности борьбы и вместе с тем не тербит, не жует его нервы излишним натурализмом, не страшит и не забавляет его фонтанами крови, в то же время показывая, что лишь путем борьбы и бесстрашия должен идти рабочий к добытию свободы—жить и трудиться. Обычные черты Низового—простота и уравновешенность—оказали книге существенную услугу: «В горах Алтая» написана убедительно простым и художественным языком. Добавим к этому идейную выдержанность книжки. Повесть П. Низового заслуживает самого широкого распространения.

Ф. Ж.

«Взлет», альманах литературной группы «Твори». Изд. «Прибой». Ленинград 1915 г. Стр. 167. Ц. 1 р. 30 к. Тир. 4.130 экз.

Альманах «Взлет» (третий по счету после «Горна» и «Твори») убеждает, что в лице литературной группы «Твори» мы имеем хорошо списавшихся друг с другом прозаиков и довольно недурных поэтов. Все члены группы—дети Октября, эпохе гражданской войны посвятившие свое молодое художественное слово. Большинство прозаиков связано с рабочим бытом, большинство же поэтов наоборот—с крестьянским.

Некоторая анекдотичность (рассказы «Блажь», «Постановили»), художественно неоправданная агитационность («Саван») деревенских «баек» Волкова и композиционная схематичность, инсценировочные характеристики действующих лиц (положно-классическому приему—генерал, как генерал, злодей, как злодей в «Расплате» Афрамеева) заста-

влияют центральными вещами альманаха признать не эти большие повести, а небольшой рассказ Кожевникова «Первый снег», и «Под ураганным огнем» Дмитриева. Особенно сильное впечатление производит «Первый снег», написанный экономно, с умелым подбором словесного материала. Из других произведений следует отметить Н. Молодцова. Отывок из его романа «Раскопанные будни» говорит об упорной, серьезной работе; Ник. Москвина, давшего в «Октябре чиновника Макушкина» очень удачную пародию на «Двенадцать» Блока, и А. Пучкова, рассказ которого «Улица» свидетельствует о большой бытовой наблюдательности автора.

Из поэтов группы яснее всего определяется лицо Богданова—его трудные деревенские песни (лучшая—«Мятедь»). Четкие композиционно, менее запоминаются крестьянские стихи Киселева-Голубева и Гавриловой. У молодых поэтов не всегда ладно с образом, рифмами, но в процессе работы эти недостатки легко изживаются.

Читается альманах с интересом и обнаруживает, по сравнению с прежними сборниками группы, несомненные достижения. Издана книга прилично.

В. Красильников.

Жорж Дюамель. — «Игры и утехи». Изд. «Мысль». 1925 г. Перев. Сметанича. Стр. 160. Ц. 75 к.

Жорж Дюамель, ставший у нас одним из очень популярных западных писателей, проделал в своем творчестве чрезвычайно интересную эволюцию.

«Игры и утехи»—произведение, во многом уступающее его прежним вещам, все же показательно, как определенный этап литературной деятельности автора,—этап, характеризующий не только Дюамеля, но и целую группу французских писателей, объединившихся под знаменем так называемого «универсализма».

Изображение «единства душ», духовной связи человека с коллективом—вот первые задачи универсализма, и те его тенденции, которые поро-

дили (особенно ярко проявившиеся в творчестве всей группы во время европейской войны), идея солидарности, объединения, пацифизма.

Очерки и рассказы Дюамеля, посвященные войне, чрезвычайно ценный вклад в антимилитаристскую и антибуржуазную литературу.

Однако, в послевоенных своих произведениях автор все больше и больше углубляется в мельчайшие душевные переживания людей, как будто совершенно оторванных от какого бы то ни было окружения, и превращает свои вещи в почти бессюжетные психологические этюды (Напр., «Двое» и др.).

Еще больше сужается Дюамель и «Играх и утехах».

«Правдивая жизненная повесть»—как определяет книгу сам автор. Но вряд ли можно назвать ее повестью. Ряд не совсем связанных наблюдений над мелочами повседневной жизни маленьких сыновей автора, кропотливые описания их игр, разговоров, детских достижений.

Наряду с мастерски написанными сценками, забавными ситуациями, остроумными и тонкими отступлениями в область философии, педагогики, морали—в книге встречаются страницы малоинтересных, длинных, приторно-добродетельных излияний.

«Хорошо бы взять к себе в кровать наших ангелочков. Иногда это желание настолько сильно, что мы не можем бороться с ним и кричим в унисон—дайте сюда ангелочков!» и т. п.

Несмотря на несомненную художественность, на дымку глубокой и трогательной нежности, окутывающей книгу Дюамеля,—она неприятно поражает какой-то обывательской замкнутостью, узостью горизонтов, особой примиренностью; и даже надежды автора на лучшее будущее, мечты о жизненных достижениях преломляются только через мысли о судьбе мальчиков.

«Я порядком заплесневел, у меня стерты все углы. Я умею подавлять свою гордость. Побежден ли я? Конечно, побежден! Но еще не окончательно. Пришли малыши—начинай все сначала!» и т. д. И хотя автор, как он пишет, попрежнему ищет «почву для общения и слияния душ»—он на-

ходит ее не в социальном коллективе (как Жюль Ромэн), не в общем, протестующем, вопиющем о борьбе страданий (как сам Жорж Дюамель во время войны), а в суженных рамках семьи.

Н. Эйшишкиса.

Апри де-Ренье.—Собрание сочинений. Изд. «Academia». ЛНГ. 1925.

«По прихоти короля», роман. Перевод и предисловие М. Кузьмина. Стр. 340. Тир. 4.000 экз. Ц. 1 р. 40 к.

«Страх любви», роман. Перевод Ал. Н. Чеботаревской с предисловием А. А. Смирнова. Стр. 319. Тир. 4.000 экз. Ц. 1 р. 40 к.

Среди потока переводов, затопивших наш книжный рынок, переводов в большинстве случаев сделанных наспех и как-нибудь, среди издательств, выпускающих переводную литературу, стремящихся только за количеством и не сетующих на переводчиков за то, что глагол «fermer» они переводят существительным «фермер», издательство «Academia» Государственного Института Истории Искусств—безукоризненно и может служить примером, как надо издавать книги.

Небольшие томики Ренье, в белых с красной рамкой переплетах, изданные просто и изящно, отлично выполненные переводы и, сравнительно, недорогая цена удовлетворяет самого строгого библиофила.

Никто, конечно, не будет утверждать, что Ренье созвучен нашей современности, но между тем, как мастер романа, поэт, достигающий своей прозой высокого совершенства и прекрасный стилист, имеющий мало себе равных, он заслуживает пристального внимания.

Две вновь выпущенных книги характерны для его творчества, для его основных устремлений.

«По прихоти короля»—роман, рисующий провинциальную и придворную жизнь Франции времен «короля солнца». В нем Ренье уходит в любимую им старину, воссоздаваемую с таким знанием эпохи и ее языка. Автор развертывает события около молодого де-Покаиси, прозябающего в провинции и затем переносимого

в действующую армию и ко двору короля, расположенья которого он тщетно добивается, но игра случая и ничтожная прихоть Людовика, вызванная ревностью и насильственностью обстоятельств, не позволивших его королевскому высочеству удовлетворить свою мимолетную страсть к женщине, которой обладал Покаиси, вновь возвращают последнего в провинцию, где с молодой женой он проводит дни своего изгнания.

Быт и нравы той эпохи, показанные Ренье, кратко, но верно характеризуют слова де-Мантенон, выбранные им для романа эпиграфом: «легкое распутство прощается в наше время».

«По прихоти короля» уводит читателя в пленительную для автора старину, в «В страхе любви», возвращаясь к концу XIX, началу XX века, он берет одну из основных своих тем, названную в заглавии и переносит действие в любимую им Венецию, на фоне которой, написанном нежно и проникновенно, развертывается преодоление двумя молодыми людьми, Жюльеттой и Марселем, боязни любить, преодоление завершающееся трагической смертью Марселя²⁾ на дуэли и одиночеством Жюльетты под жестокой властью ненавистного ей человека.

Эта книга, как справедливо замечает в предисловии А. А. Смирнов, в отдельных своих главах выходит из рамок романа и звучит, как поэма «о любви горькой и блаженной, нежной и роковой».

Уход в прошлое, тема страха любви и, неустанно воспеваемой Ренье, Венеции проходит через большинство его книг, соединяясь в одно в «Дважды любимой» (Изд. «Academia», 1924), романе, который считают лучшим среди прочих, созданных Ренье.

Но как мастер, он равновелик и в «Страхе любви», и в «Дважды любимой», и в «По прихоти короля», везде движимый своим «оптимистическим пессимизмом», живым для него прошлым и образом Венеции с поющими фонтанами и голубями, тяжело поднимающимися с пьедесталов бронзовых статуй.

Б. Анибал.

Н. Сегюр.—«Разговоры с **Анатолем Франсом**». Изд. «Сеятель». Л. 1925. Стр. 120. Ц. 70 коп.

Н. Сегюр указывает, что он редко узнавал А. Франса в книгах, написанных об А. Франсе.

И Франс книги Сегюра—совсем особый. Он скорбен и печален, он подавлен сомнениями и тоской. Блестящий скептицизм Франса, доставляющий порою чисто эстетическое наслаждение, прикрывал собою, по словам Сегюра, незакрывающуюся рану души.

Писать воспоминания—сложное, трудное и ответственное дело. Соблюсти правильную перспективу—большая задача, усложняемая и тем, что автор воспоминаний невольно привносит в них свою личность, свои вкусы, свой социальный идеал. Не исключен и тот психологический казус, что автору воспоминаний лучше всего запомнится и выделится на первый план именно то, что будет близко ему лично.

Все эти соображения невольно приходят в голову при чтении внешне-увлекательной книги Н. Сегюра. Ведь, она почти убеждает в том, что Франс, скептик до глубины души, не мог быть социалистом в силу того, что не мог ни во что верить. Она почти убеждает, что Франс пережил величайшую трагедию в конце своих дней, что он испытал животный ужас смерти, что все, что раньше было ему дорого,—все перестало существовать для него. Франса, приветствовавшего СССР, Франса, который почти был членом ФКП, — немисливо себе и представить по этой книге.

Но, к счастью, перед нами только оптический обман, искажение перспективы. Н. Сегюр выявляется в книге, если и не консерватором, то в достаточной степени буржуазным интеллигентом. Для него нет большего удовольствия рассказать, как Франс свернул за угол, чтобы не встретиться с антиклерикальной манифестацией, «своими союзниками».

К книге Н. Сегюра надо отнестись с величайшей осторожностью.

Ю. Д.

Горбачев.—«Капитализм и русская литература». Государствен. Издательство. Ленинград. 1925 г. Стр. 175. Ц. 1 р.

Горбачев—автор хорошей и по заслугам известной книги о современной литературе. Эта работа показала в критике добросовестную вдумчивость, серьезное знакомство с фактами и счастливый дар в их сопоставлении. Все это заставляет с вниманием отнестись к новой работе автора.

Цель Горбачева в этой книге ясна из заглавия: установление зависимости русской литературы от процесса капитализации России. Главное внимание сосредоточено на ряде писателей 60-х и последующих годов: на Некрасове, Толстом, Достоевском, Горьком, Блоке и Андрееве. Но начинается книга обширным введением, которое, с одной стороны, рисует постепенное усиление торгового капитала еще в эпоху борьбы Новгорода с Москвой, а с другой— нарастание буржуазных настроений в течение всего развития русской литературы. Впрочем, речь идет преимущественно о XVIII веке. Многие замечания Горбачева в этом отделе заслуживают самого серьезного внимания, хотя автор немалым в них обязан Плеханову и его «Истории общественной мысли». Интересны, напр., указания на характер петровской литературы, которая вся была посвящена «настоящему самодержцу всяя Руси—торговому капиталу» (стр. 11). То же приходится сказать и «о всем учительстве Ломоносова в стихах и прозе»; все это служило целям идеологической организации правящих классов дворянско-купеческого государства. Разумеется, история нашей литературы еще так мало обследована марксистами, что Горбачев в своем кратком очерке скорее обращается в сфере гипотез, чем обоснованных положений. Поэтому многое в его вступлении может вызвать всякого рода сомнения. Вот, на выдержку, два примера. Торговый капитал создал простой, близкий к торговым книгам, «светский» язык петровской эпохи. Но тот же торговый капитал формирует утонченный стиль Екатерининских времен. Почему? Очевидно, здесь надо уточнить

характеристику капитализма обеих эпох и указать на роль западных влияний, значение которых подчеркивал Плеханов. Еще больше недоумений вызывают замечания о сентиментализме. Оказывается, сентиментализм создан мелким дворянством, испытавшим на себе гнет высшего и презирающим временщиков... Но факты упрямо противостоят этому априорному утверждению. Слишком уж затруднительно царедворцев Карамзина и Жуковского отнести к числу врагов высшего дворянства.

Внимательного читателя, быть может, не вполне удовлетворяют и некоторые очерки из центральной части книги. Первый из них — Некрасове, — признаться, не вносит ничего нового. Автор отмечает в творчестве Некрасова те же три мотива, которые нам известны и по статье Плеханова: мотивы протеста гражданского долга и возмущения положением крестьянства. Иллюстрирует он эти положения, правда, на свежем материале, но никаких существенно-новых деталей замечаний не вносит. Отдельные же его соображения вызывают решительный отпор. Странно, напр., утверждение, что в Некрасовском изображении крестьянства «нет дворянской слезливости, нет неумеренной народнической идеализации» (стр. 56). Такое мнение само по себе — идеализация Некрасова.

Более оригинальны очерки о Толстом и Достоевском, но, признаться, хотя бы после книги Переверзева замечания Горбачева не вносят ничего существенно нового об авторе «Братьев Карамазовых».

Очерк о Горьком посвящен частному вопросу. Критик указывает на то, что тенденции, проявившиеся в последних политических статьях писателя, всегда потенциально жили в его творческом сознании, что они объясняются мелкобуржуазной сущностью писателя.

Лучшая статья о Блоке. Замечания о стиле поэта и о развитии революционных мотивов в его творчестве доказательны и вносят свежие штрихи в наше «блоковедение». В связи с общими своими взглядами на русскую поэзию, Горбачев и в Блоке видит «большого поэта, обслуживающего мистические увлечения бур-

жуазной интеллигенции XX в.» (стр. 132). Правда, в дальнейшем он отступает от своего взгляда на Блока, как на поэта буржуазии, и уже говорит о его «дворянско-буржуазной идеологии» (стр. 141 и др.). Но вообще оперирование термином «буржуазный» по отношению к Блоку должно быть возможно более осторожным. Троцкий вполне справедливо видит черты дворянской идеологии в его творчестве. Тонкость восприятия природы, неопределенность городских пейзажей ненавистны буржуазии и капиталистической технике (случайное временное увлечение его, о котором упоминает Горбачев — не в счет) — все это говорит скорее за правильность мнения Троцкого, а не автора рецензируемой книги.

Под конец следует сказать, что автор в предисловии как будто бы отклоняет от себя упрек в недостаточной степени оригинальности. «Эти очерки, говорит он, не претендуют на роль самостоятельного научного исследования». Но тут же он прибавляет, что дает «сочетание своих и чужих мыслей» (стр. 4). К сожалению, сочетание получается несколько неравномерное.

Будь эта книга очерком истории русской литературы XIX и начала XX в., то от нее, как от всякой сводочной работы, мы ждали бы оригинальности концепции, а не своеобразия от отдельных глав. Но это не история, ибо от истории мы требуем, прежде всего, полноты. А книга, в которой, по правильному подсчету самого автора, нет ничего о Салтыкове, Успенском, Короленко, Гаршине, Достоевском, Тургеневе и проч. (стр. 6), конечно, на полноту претендовать не может. Тогда и получается собрание случайных журнальных статей, объединенных в одной книге. А такая книга только тогда и нужна, когда вносит нечто определенно новое.

Горбачев — автор хорошей работы о современной литературе. Мы вправе от него ожидать такой же и по XIX веку. Его новая книга пока не вполне осуществила наши ожидания. Будем ждать следующей.

Б. В. Нейман.

Рафаил Григорьев.—«В. Г. Короленко». Государственное Издательство. Критико-биографическая серия М. 1925. 143 стр. Ц. 80 к.

В круге общих биографических очерков о Короленко книжка Р. Григорьева является уже четвертым опытом. Первым следует считать «опыт биографической характеристики», принадлежащий Н. Шаховской и изданный в 1912 г. Тогда еще мало было в печати биографических материалов о Короленко, воспоминаний о нем, его писем. Не было и сколько-нибудь полного собрания его сочинений (оно появилось двумя годами позже у Маркса) Тем ценнее этот первый опыт, давший очень полную, очень точную характеристику жизни, личности и творчества Короленко; Шаховская пользовалась и некоторыми личными указаниями писателя. Через десять лет после ее книги и вскоре после смерти Короленко сразу появились две других биографии: 1) Ф. Д. Б а т ю ш к о в. В. Г. Короленко, как человек и писатель. За друга. М. 1922; и 2) Т. А. Б о г д а н о в и ч. В. Г. Короленко. Биография. Выпуск I. 1853—1917. Харьков. 1922. Батюшков был давним знакомым Короленко, десятки лет переписывался с ним, располагал и другими письмами, а также указаниями дочери писателя, Софьи Владимировны. Это очень обогатило новую биографию свежими частичными материалами. Но общий состав повествования не был обширнее, чем у Шаховской. Третий биограф, Т. Богданович, давний друг семьи Короленко, прекрасно знала частную жизнь писателя; кроме того, она могла широко пользоваться его обширным архивом. Поэтому она внесла в свою книжку массу новых отдельных черт, дополнявших повествование Шаховской и Батюшкова. Однако, равнение литературного творчества Короленко в этой книжке отстывает на задний план перед фактической биографией; у биографа чувствуется связанность и сужение кругозора.

За последние три года, после смерти Короленко, появилась огромная литература о нем—целый поток писем, воспоминаний, официальных документов, эпизодических исследований, общих характеристик. Новый

биограф, помимо всего этого, мог бы еще воспользоваться новым, действительно полезным, собранием сочинений Короленко, выходящим в Украинском Госиздате, начиная с четырех томов «Истории моего современника».

Р. Григорьев, кажется, не был в личном общении с писателем и не изучал архивных материалов, но он добросовестно и широко изучил и старую, и новую короленковскую литературу и учел все то, чего достигли три его предшественника. Он был сильно стеснен небольшими размерами, какие отводятся Гиом «биографической серии», а мог бы, конечно, рассказать биографию Короленко гораздо подробнее. Впрочем, сжатость изложения не помешала его содержательности.

Довольно равномерно Григорьев излагает и внешнюю биографию, и общественную деятельность, и развитие художественного творчества Короленко. Биограф одинаково внимательно и к душе, и к мыслям Короленко. Он верно схватывает характерные черты, и по прочтении книжки читатель вынесет четкое и верное понятие о ее герое,—как и уважение и любовь к нему, какими преисполнен сам биограф.

Перед тремя прежними биографами Григорьев имеет то преимущество, что те были не критичны и слишком пассивно подчинялись писателю, теряя историческую перспективу. Григорьев же хорошо видит исторические границы, какими был замкнут Короленко. Стоя на марксистской точке зрения, он устанавливает этапы в идеологическом развитии Короленко, при чем явственно выступает предопределенность писателя к народническому миросозерцанию, каким он питался в 70-е годы. Спокойно, без полемических приемов, Григорьев раскрывает то органическое непонимание марксизма, какое обнаруживал Короленко при всем своем интересе к идеологическим спорам в 90-х годах. Убедительно устанавливает Григорьев у Короленко культ «законности» и «свободы» и его отчужденность от приемов революционной борьбы. «Из всех группировок,—пишет Григорьев,—он поддерживал существовавший до 1905 года Союз Освобождения, который поставил себе целью быть сосредото-

чем всех оппозиционных сил, но из которого фатально вылупилась кадетская партия». «Если бы определять позицию Короленко в политических терминах, то пришлось бы сказать, что это был либерал или радикал». Это определение, достаточно обоснованное Григорьевым, идет вразрез с традиционным представлением о Короленко, помещавшем его где-то рядом с социалистами-революционерами.

Когда Григорьев заканчивал свою книжку, он еще не мог читать, изданных недавно, «Дневников Короленко»; в них он нашел бы еще много документальных данных в подтверждение своей характеристики.

Надо сказать, что некоторые черты мирозерцания Короленко мало разработаны в разбираемой книжке. Григорьев отмечает, что «исключительное внимание в своих наблюдениях писатель отводит религиозному искательству и религиозной мысли народа». Но следовало указать, что религиозное искательство присуще и самому Короленко. Конечно, не в вероисповедной, догматической форме; Короленко был рационалист, пи-

томец 70-х годов с их научным оптимизмом. Однако, ему всегда были свойственны искания «верховного разума» в мире, присущ своеобразный теизм. Этот теизм сказался ярко в молитве Сократа к Неведомому («Те-ни»); теперь несомненно, что здесь Короленко выразил свои собственные переживания, о чем красноречиво свидетельствуют «Дневники». Религиозное искания как-то органически сростаются в Короленко с его идеалистическим мирозерцанием.

Биограф неохотно отрывается от описания жизни и идеологии Короленко, чтобы говорить о его художественном творчестве. Здесь Григорьев словно скучает. Он не только не дает ничего своего, оригинального, но не суммирует и того, что уже хорошо сказано другими. Это большой пробел.

Однако, в общем книжку надо признать удачной, полезной. Она много поможет начинающему читателю при ознакомлении с Короленко.

Как книжке приложена библиографическая справка и хронологическая таблица жизни и творчества писателя.

Н. Пиксанов.

Редакторы { *А. В. Луначарский.*
И. И. Степанов-Скворцов.

Издатель: „Издательство Известий ЦИК СССР и ВЦИК“.